

A close-up, high-contrast portrait of Karl Lagerfeld. He has long, dark hair, a full grey beard, and intense blue eyes. The lighting is dramatic, highlighting the texture of his skin and the intensity of his gaze. The background is dark and out of focus.

Этот текст
вызывает
зависимость.

Paris Review

КАРЛ УВЕ КНАУСГОР ПРОЩАНИЕ

МОЯ БОРЬБА [1]

Карл Уве Кнаусгор
Моя борьба. Книга 1. Прощание
Серия «Моя борьба», книга 1

pdf
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42645178
ISBN 978-5-00131-112-6

Аннотация

Карл Уве Кнаусгор пишет о своей жизни с болезненной честностью. Он пишет о своем детстве и подростковых годах, об увлечении рок-музыкой, об отношениях с любящей, но практически невидимой матерью – и отстраненным, непредсказуемым отцом, а также о горе и ярости, вызванных его смертью.

Когда Кнаусгор сам становится отцом, ему приходится искать баланс между заботой о своей семье – и своими литературными амбициями. Цикл «Моя борьба» – универсальная история сражений, больших и малых, которые присутствуют в жизни любого человека. Это глубокий завораживающий труд, написанный так, будто на кону стояла жизнь автора.

Содержание

Часть I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	159

Карл Уве Кнаусгор
Прощание
Книга первая
автобиографического цикла
Моя борьба

Karl Ove Knausgård
MIN KAMP. FØRSTE BOK

Copyright © 2009, Forlaget Oktober as, Oslo

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2019.

info@sindbadbooks.ru

www.sindbadbooks.ru

www.facebook.com/sindbad.publishers

www.instagram.com/sindbad_publishers

* * *

Карл Уве Кнаусгор – норвежский писатель, искусствовед

и литературный критик. Его дебютный роман «Прочь от мира» (1998) был удостоен премии Ассоциации норвежских критиков, второй – «Всему свое время» (2004) – номинирован на премию Северного Совета. Автобиографический цикл «Моя борьба», признанных одним из самых ярких литературных событий столетия, принес автору мировую известность и престижные награды, включая Премию Браги, премию Шведской академии и Иерусалимскую премию.

Инна Стреблова – известный переводчик со скандинавских языков. В ее переводе на русском языке вышли более 60 произведений таких писателей, как Август Стриндберг, Сёрен Кьеркегор, Сельма Лагерлеф, Астрид Линдгрэн, Эрленд Лу, и многих других. Живет в Санкт-Петербурге.

Часть I

Сердце живет просто: оно бьется, пока может. Затем останавливается. Рано или поздно, в тот или иной день эти равномерные биения сами собой прекращаются, и кровь утекает вниз, в стоячий пруд, заметный снаружи по темному мягкому пятну на побелевшей коже, между тем как температура тела неуклонно опускается, мышцы коченеют, а кишечник опорожняется. Происходящие в первые часы изменения протекают так медленно и совершаются с такой неукоснительной последовательностью в одном и том же порядке, что носят характер какого-то ритуального действия, словно жизнь капитулирует по неким заданным правилам вроде джентльменского соглашения; соблюдает их и другая сторона, представляющая смерть, — ее агенты всегда дожидаются, когда жизнь уступит свои позиции, и только тогда вторгаются на освободившуюся территорию и бесповоротно овладевают завоеванным пространством. Огромные полчища бактерий, распространяясь в теле, уже не встречают никакого сопротивления. Попытайся они сделать это на два-три часа раньше, защитники тотчас же отразили бы их нападение, теперь же все вокруг тихо, и они все глубже проникают туда, где темно и влажно. Они добираются до гаверсовых каналов, либеркюновых крипт, проникают в островки Лангер-

ганса. Они достигают капсул Боумена в *Renes*¹, столба Кларка в *Spinalis*², черного вещества в *Mesencephalon*³. И добираются до сердца. Оно все еще в сохранности, но лишено движения, на которое рассчитана вся его конструкция, и потому возникает ощущение запустения, как впопыхах покинутое рабочими промышленное предприятие: еще желтеет на фоне темного леса застывшая в неподвижности тяжелая техника, стоят безлюдные бараки, повисли на канатной дороге, ведущей в гору, груженные вагонетки.

Тело, из которого ушла жизнь, тотчас становится частью мира мертвых вещей. Лампочек, чемоданов, ковров, дверных ручек, окон. Земли, болот, ручьев, гор, облаков, неба. Ничто из этого нам не чуждо. Мы постоянно находимся в окружении предметов и явлений неживого мира. Однако мало что способно нас так смутить, как вид попавшего в их круг человека, по крайней мере судя по тем стараниям, которые мы прилагаем, чтобы поскорее убрать подальше от глаз мертвые тела. В крупных клиниках их не только прячут в специальные, недоступные для посетителей помещения; к ним ведут потайные пути с отдельными лифтами и подвальными коридорами, и даже если ты туда случайно забредешь, то покойник на каталке всегда будет накрыт простыней. Из больницы тела вывозят через особые двери, погрузив

¹ Почки (*лат.*). – Здесь и далее прим. перев.

² Спинной мозг (*лат.*).

³ Средний мозг (*лат.*).

в специальную машину с затемненными стеклами; в церкви для них отведено особое помещение без окон; на похоронах во время прощания гроб все время стоит закрытый, а потом его опускают в землю или сжигают в крематории. Найти в такой процедуре какой-то практический смысл довольно затруднительно. Мертвые тела можно бы с тем же успехом возить по больничным коридорам и непокрытыми, а затем отправлять куда надо обычным такси, и это ни для кого не представляло бы ни малейшей угрозы. Пожилой человек, внезапно скончавшийся во время киносеанса, мог бы досидеть на месте до его окончания, а то и весь следующий сеанс. Учителя, которого хватил удар на школьном дворе, совсем не обязательно немедленно увозить, ничего не случится, пролежи он там до вечера, пока у сторожа не найдется время им заняться. Ну, сядет на него птица, ну, поклюет — что тут особенного по сравнению с тем, что ждет его в могиле? Разве только то, что там мы ничего не увидим. Пока покойники не мешаются у нас под ногами, для спешки нет никакой причины, они ведь уже умерли, и больше с ними ничего не случится. Особенно удобно в этом смысле холодное время года. Бездомные, замерзшие на скамейке в подворотне, самоубийцы, бросившиеся с верхнего этажа или с моста, старушки, упавшие с лестницы, жертвы аварий, зажатые в разбитых автомобилях, парень, утонувший в озере после вечеринки в городе, девочка, попавшая под колеса автобуса, — с ними-то что заставляет так спешить, чтобы как можно

скорей спрятать в укромном месте? Порядочность? Но разве не порядочней было бы дать отцу и матери возможность увидеть дочку спустя час или два, как она лежит рядом с местом аварии на снегу, с раздавленной головой и телом, с запекшейся кровью на волосах и в чистенькой курточке-дутике? Открытая миру, без тайн и секретов лежала бы она на обочине. Но нет, даже один час на снегу – это просто невымыслимо! Город, где не прячут от глаз своих мертвецов, где они лежат у всех на виду, на улицах, в скверах и на парковках, – это уже не город, а ад крошечный. И неважно, что этот ад куда правдивее отобразил бы реальность, в которой мы живем. Мы знаем, как оно есть на самом деле, но не желаем этого видеть. И стремление побыстрее убрать покойников с глаз долой – лишь проявление этого коллективного вытеснения.

Однако что именно подвергается вытеснению, не так-то просто понять. Смерть как таковая – вряд ли, слишком уж выражено ее присутствие в общественной жизни. Покойников слишком часто упоминают в газетах или программах новостей, количество таких упоминаний может варьировать, но в среднем их число, вероятно, остается более или менее постоянным, а поскольку для этого существует множество каналов, от них никуда не денешься. Однако там смерть, очевидно, не воспринимается как что-то угрожающее. Напротив, она нам даже нравится, и мы готовы платить деньги за то, чтобы нам ее показывали. Если добавить сюда то несметное число выдуманных смертей, которыми нас развлекают в

художественных произведениях, систематическое сокрытие мертвых тел выглядит еще непонятнее. Если смерть нас не пугает как явление, то почему нас так смущает вид мертвого тела? Очевидно, это означает, что есть две разновидности смерти, или же существует противоречие между нашим представлением о смерти и тем, какова она в действительности, а это, в свою очередь, сводится к одному: наше представление о смерти так прочно утвердилось у нас в сознании, что мы не только испытываем шок, сталкиваясь с тем, что действительность не совпадает с нашими представлениями, но еще и всеми силами стараемся это скрыть. Причем так сложилось не под влиянием рациональных доводов, — в отличие от, например, установленных ритуалов, в частности похорон, смысл и содержание которых в наше время стали предметом договоренностей и тем самым перешли из иррациональной области в рациональную, из коллективного сознания — в индивидуальное; нет, то, как мы поступаем с мертвецами, никогда не выносилось на обсуждение: мы действуем под влиянием непреложной необходимости, не имеющей никаких рациональных объяснений, а потому мы просто знаем: если твой отец в осенний ветреный день умер под открытым небом, ты постарайся как можно скорее отнести его в дом, а если не сможешь, то хотя бы накроешь его одеялом. Но этот позыв в отношении умершего — не единственная странность, которая крепко сидит в нашем сознании. Не менее поразительно наше стремление поскорее поместить тело по

возможности ниже и ближе к земле. Совершенно невозможно себе представить, чтобы морг и прозекторская располагались на одном из верхних этажей больницы и трупы поднимали бы туда на лифте. Мертвых держат как можно ближе к земле. Тот же принцип распространяется и на конторы, занимающиеся организацией похорон: отделение страхового агентства может размещаться хоть на восьмом этаже, а бюро ритуальных услуг – нет. Любая похоронная контора старается расположиться не выше первого этажа. Трудно сказать, откуда это пошло; невольно напрашивается мысль, что мы имеем дело со старинной традицией, в основе которой лежали практические соображения: например, что в подвале холоднее и хранить трупы там удобнее, – однако этот принцип сохранился и в нашу эпоху холодильников и морозильных камер – не потому ли, что для нас противоестественно относить покойников куда-то наверх, словно высота и смерть – взаимоисключающие вещи. Словно в нас сидит глубинный хтонический инстинкт, заставляя держать мертвых как можно ближе к земле, из которой мы вышли.

Таким образом, получается, что смерть как бы соотносится с двумя различными системами. Для одной характерны скрытность и тяжесть, земля и тьма, для другой – открытость и легкость, свет и эфир. Вот в некоем ближневосточном городе погибают отец и сын, когда отец пытается вынести ребенка за линию огня, и камера одного из тысяч спутников, вращающихся вокруг Земли и передающих изображение на

тысячи телевизоров, с экранов которых изображения мертвых и умирающих людей попадают в наше сознание, запечатлела, как их тела, соединенные в крепком объятии, вздрагивают от попадающих пуль. Эти картинки не обладают ни массой, ни протяженностью, существуют вне времени и пространства. Они находятся нигде и везде и уже никак не связаны с запечатленными на них телами. Большинство из них проходит сквозь наше сознание, не оставляя следа, но некоторые по каким-то причинам в нем задерживаются и продолжают жить своей жизнью в темных глубинах мозга. Вот горнолыжница при скоростном спуске пропорола себе бедренную артерию, кровь красным шлейфом тянется за ней по белому склону, тело еще не успело остановиться, а она уже погибла. У самолета на взлете вспыхивают крылья, над городской окраиной синее небо, и среди этой лазури красным огненным шаром взрывается самолет. Однажды вечером у северного побережья Норвегии потерпела крушение рыболовная шхуна, команда из семи человек потонула; на следующий день сообщение об этом появляется во всех газетах, потому что это произошло при загадочных обстоятельствах: на море стоял штиль и со шхуны не подавали сигналов бедствия, она просто пропала, вечером это еще раз подчеркнут репортеры нескольких телевизионных программ, показывая снятое с вертолета пустынное море на месте гибели судна. Небо затянуто тучами, на море мертвая зыбь, тяжелые, серо-зеленые волны катят размеренно, гряда за грядой,

резко отличаясь от темпераментных пенных барашков, кое-где выскакивающих на гребнях. А я сижу и смотрю на это, один, — дело было, по-видимому, ранней весной — отца рядом нет, он работает в саду. Я не свожу глаз с этого моря, не слушая, что говорит репортер, и вдруг *среди волн проступают очертания человеческого лица*. Не помню, как долго это длилось. Наверное, несколько секунд, но их хватило, чтобы произвести на меня неизгладимое впечатление. Едва лицо исчезло, я бросился на поиски кого-нибудь, с кем можно поделиться. Мамы дома нет, она работает во вторую смену, брат играет в войнушку, а другие ребята из нашего поселка просто не станут меня слушать, так что, подумалось мне, останется только папа, я сбегая по лестнице вниз, надеваю ботинки, напяливаю куртку, открываю дверь и, выскочив во двор, бегу в сад за домом. Нам не разрешалось носиться по участку, поэтому, прежде чем попасть в поле зрения папы, я сбавляю скорость, чтобы подойти к нему шагом. Отец стоит за домом, в ложбине, где предполагалось разбить огород, и колотит кувалдой по скальному выступу. Хотя ложбина неглубока, всего несколько метров, но из-за черной вскопанной земли, на которой отец стоит, и зарослей рябины за изгородью у него за спиной в ней уже сгустились сумерки. Когда отец, выпрямившись, оборачивается ко мне, лицо его едва проступает из тьмы.

Однако мне и этого достаточно, чтобы понять, в каком он настроении. Тут важно не выражение лица, а общая осанка,

и считается она не рассудком, а интуицией.

Он ставит на землю кувалду и снимает рабочие рукавицы.

– Ну что? – спрашивает отец.

– Я только что видел лицо в море, по телевизору, – говорю я, остановившись на лужайке у края расселины.

Сосед только что спилил сосну на своем участке, и от валяющихся за каменной изгородью чурбаков тянет терпким запахом смолы.

– Аквалангиста? – спрашивает отец.

Он знал, что я интересуюсь подводным плаванием, и не представлял себе ничего более увлекательного, ради чего я мог бы к нему прибежать. Я мотаю головой:

– Это был не человек. А что-то вроде картинки на воде.

– Картинка на воде, говоришь? – произносит отец, вытаскивая из нагрудного кармана пачку сигарет.

Я киваю и уже поворачиваюсь, чтобы уйти.

– Постой-ка, – говорит он.

Он чиркает спичкой и наклоняет голову, чтобы прикурить. Огонек спички протыкает в сумраке дырочку света.

– Ну-у, – говорит он.

Сделав глубокую затяжку, он становится одной ногой на скалу и смотрит на лес за дорогой. А может быть, на небо над лесом.

– Ты что – увидел лик Иисуса? – спрашивает он и смотрит на меня снизу вверх.

Если бы не дружелюбный тон и длинная пауза перед во-

просом, я бы решил, что он шутит. Его несколько смущало, что я называю себя верующим христианином; единственное, чего он от меня хотел, – это чтобы я был, как все ребята, а из всех ребят в поселке никто, кроме его младшего сына, не называл себя верующим христианином.

Вот о чем он подумал.

Меня так и окатило радостью оттого, что ему не все равно, и в то же время сделалось немного обидно оттого, что он такого невысокого мнения обо мне.

Я мотнул головой:

– Нет, это был не Иисус.

– Приятно слышать, – улыбается папа.

Откуда-то сверху доносится шорох велосипедных колес по асфальту. Звук нарастает, становится громче. В поселке так тихо, что легкий свистящий призыв, различимый в этом шуршании, стал слышаться ясно и отчетливо, когда проезжающий велосипедист наконец поравнялся с домом.

Сделав еще одну затяжку, папа выбрасывает недокуренную сигарету за ограду и, откашлявшись, снова берется за кувалду.

– Брось думать об этом, – говорит он, обратив ко мне снизу лицо.

В тот день мне было восемь лет, отцу тридцать. Хотя я по-прежнему не могу утверждать, что понимаю его или знаю, что он был за человек, но, так как я уже на семь лет старше, чем он тогда, мне теперь легче понять некоторые вещи. На-

пример, то, чем отличались его дни от моих. Если мои дни до такой степени были наполнены смыслом, что теперь это даже трудно представить, а на каждом шагу открывалась новая возможность, переполнявшая меня до краев, то смысл его дней состоял не из череды отдельных событий, а охватывал целые поля, столь обширные, что его невозможно было выразить иначе, чем с помощью абстрактных понятий. С одной стороны, тут была «семья», с другой – «карьера». А что до немногих возможностей, если они ему вообще открывались, то он всегда знал, что они несут и как к ним относиться. В то время он уже двенадцать лет был женат и восемь из них проработал в школе преподавателем в старших классах, имел двоих детей, свой дом и автомобиль. Был депутатом муниципального совета от партии «Венстре». Зимой он занимался своей коллекцией марок – и кое-чего достиг в этой области, очень скоро став самым известным филателистом своего региона, – а летом все свободное время отдавал садоводству. Не знаю, что он думал в тот весенний вечер, не знаю, каким он видел себя самого, когда выпрямился с кувалдой в руках и в полумраке посмотрел на меня снизу, однако уверен: он жил с ощущением, что хорошо понимает окружающий мир. Он знал, кто есть кто, о каждом соседе в поселке, и кто какое место занимает в социальной иерархии местного общества, а кроме того, по-видимому, много такого, что они предпочли бы скрыть, во-первых, потому что он учил их детей, а во-вторых, потому что хорошо подмечал чужие слабости.

Как представитель нового, образованного среднего класса, он был также в курсе мировых событий, о которых ему каждый день сообщали газеты, радио и телевидение. Он неплохо разбирался в ботанике и зоологии, так как интересовался этими предметами в детстве, и если в других, точных науках был подкован хуже, то, по крайней мере, знал в общих чертах их основы, которые усвоил в гимназии. Лучше всего он знал историю, так как изучал ее в университете наряду с норвежским и английским. Иначе говоря, не будучи экспертом ни в одной области знания, за исключением разве что педагогики, он понемножку разбирался во всем. В этом отношении он был типичный адъюнкт – преподаватель средней школы с университетским образованием, причем, заметим, той эпохи, когда должность учителя старших классов средней школы еще считалась престижной. Сосед по другую сторону изгороди, Престбакму, работал учителем в той же школе, то же самое и другой сосед, Ульсен, чей дом стоял выше нашего на лесистом склоне, в то время как еще один сосед, Кнудсен, живший на другом конце окружной дороги, был завучем в другой старшей школе. Таким образом, в тот весенний вечер семидесятых годов двадцатого века мой отец, махая кувалдой, крушил скалу в привычном и хорошо знакомом ему мире. Только дожив до его возраста, я понял, что за это приходится платить. Когда ты начинаешь лучше разбираться в мире, слабеет не только боль, которую он способен тебе причинить, но бледнеют те смыслы, которые он в себе несет.

Постигать мир – значит несколько от него дистанцироваться. То, что слишком мало для невооруженного глаза, – молекулы, атомы – мы увеличиваем; то, что чересчур велико, – облачные образования, дельты рек, созвездия – уменьшаем. Приспособив все эти вещи к нашим органам чувств, мы их фиксируем. А то, что зафиксировали, называем знанием. На протяжении всего детства и юности мы стремимся установить эту правильную дистанцию по отношению к предметам и явлениям. Мы читаем, учимся, набираемся опыта, вносим поправки. И вот в один прекрасный день все наши дистанции установлены, все системы выстроены. Тогда-то время и начинает бежать быстрее. Оно больше не встречает препятствий, все расставлено по местам, время неудержимо протекает сквозь нашу жизнь, дни мелькают один за другим, мы не успеваем оглянуться, как нам уже сорок, пятьдесят, шестьдесят... Смысл требует полноты, полнота требует времени, время требует сопротивления. Знание, стояние на месте – это враг смысла. Иными словами, образ отца, каким я его вижу в этот вечер 1976 года, двоятся в моем представлении: с одной стороны, я вижу его таким, каким видел тогда, глазами восьмилетнего ребенка, – непредсказуемым и пугающим, с другой стороны, я вижу его глазами сверстника, чью жизнь насквозь продувает время, уносящее с собой большие кусочки смыслов.

Удары кувалды по камню разносились на весь поселок. По дороге, вверх по пологому склону, ехал с включенными

фарами свернувший с шоссе автомобиль. Отворилась дверь соседнего дома, и на крыльцо вышел Престбакму, постоял, словно принюхиваясь к запахам, носившимся в прозрачном воздухе, затем, натянув рукавицы, взял тачку и двинулся через лужайку, толкая ее перед собой. Пахло порохом от скалы, которую разбивал отец, сосновой смолой от чурбаков за изгородью, свежевскопанной землей, лесом и солоноватым северным ветерком. Я вспомнил лицо в море. Прошло всего несколько минут с тех пор, как я о нем подумал, а все уже переменялось. Теперь у меня перед глазами стояло папино лицо.

Удары в расселине смолкли.

– Ты еще тут, малый?

Я кивнул.

– Иди-ка ты в дом.

Я пошел.

– Эй, слушай! Я остановился.

– Чтобы больше без беготни!

Я вытаращил глаза. Откуда он узнал про то, что я бегал?

– И не стой с разинутым ртом, как дурачок!

Я сделал, как он велел, закрыл рот и тихо, шагом, пошел вокруг дома. Завернул за угол, смотрю – на дороге, оказывается, полно ребят. Старшие кучкой стояли со своими велосипедами, которые в сумеречном свете сливались в одно целое с телами своих владельцев. Младшие играли в прятки. Те, что уже попались, стояли в меловом круге на тротуаре,

остальные затаились от водящего на лесистом склоне через дорогу, но я-то их хорошо видел.

Над черными вершинами деревьев алели огни на пилонах моста. На ведущую в гору дорогу свернул еще один автомобиль. Фары выхватили из темноты сначала велосипедистов: в мелькнувших лучах – блики металла, дутые куртки, черные глаза и белые лица; затем – играющую малышню, призраками расступающуюся перед машиной. Это были Тролнесы, родители Сверре, моего одноклассника. Кажется, они ехали без него.

Обернувшись, я проводил глазами красные габаритные огни, пока машина не скрылась за горой. Затем зашел в дом. Я лег на кровать и попытался читать, но, так и не сумев успокоиться, отправился в комнату Ингве, из которой было видно папу. Имея его перед глазами, я заранее знал, чего от него ожидать, и так мне было как-то спокойнее. Я знал все его настроения и давно научился заранее их предсказывать, исходя, как мне теперь кажется, из некоей подсознательной классификации; она опиралась на ряд признаков, которые подсказывали мне, чего следует ожидать от него в настоящий момент, и соответственно позволяла внутренне подготовиться. Своего рода метеорология... Скорость, с какой машина подъезжала к дому, то, сколько времени ему требовалось, чтобы выключить мотор, достать из машины вещи и выйти, то, как он оглядывался, перед тем как хлопнуть дверцу, все оттенки звуков, которые слышались, когда

он поднимался наверх и раздевался в передней, – все это были знаки, подлежащие толкованию. К этому добавлялась информация о том, где он был, сколько времени отсутствовал и с кем встречался, из чего следовал вывод – единственная сознательная составляющая этого процесса. Больше всего я боялся, когда он появлялся внезапно... Когда я по той или иной причине допускал *невнимательность*.

И как только он узнал, что я бегал?

Это был уже не первый случай, когда он каким-то непостижимым образом ловил меня на проступке. Той осенью я, например, как-то вечером припрятал под одеялом пакетик конфет, заранее почувствовав, что он зайдет ко мне в комнату и ни за что не поверит моим объяснениям, откуда у меня взялись деньги на такую покупку. Он действительно зашел и несколько секунд молча смотрел на меня.

– Что ты там прячешь в кровати? – спросил он.

Ну откуда он мог это узнать?

За окном Престбакму только что вкрутил мощную лампочку над помостом, где он обычно работал. Новый яркий глаз выхватил из темноты уйму предметов, и Престбакму разглядывал их, замерев в неподвижности перед таким богатством. Штабеля металлических коробок с красками, банки с малярными кистями, поленницы дров, обрезки досок, сложенные куски брезента, автомобильные покрышки, велосипедная рама, несколько ящиков с инструментами, коробки с гвоздями и шурупами всех форм и размеров, полки с цве-

точной рассадой в картонках из-под молока, мешки известки, свернутый резиновый шланг, прислоненная к стене доска с изображениями всевозможных инструментов, очевидно предназначенная для любительской мастерской, какие обыкновенно устраивают в подвале.

Когда я снова перевел взгляд на папу, он уже шел через газон, неся в одной руке кувалду, а в другой лопату. Я поспешно отступил вглубь комнаты. И тут же хлопнула входная дверь. Это пришел Ингве. Я взглянул на часы. Без двух минут половина девятого. Вскоре он появился, поднявшись по лестнице той особенной, дергающейся, какой-то утиной походкой, которую мы выработали, чтобы ходить бесшумно; вид у него был запыхавшийся, а щеки красные.

– А где папа? – спросил он с порога.

– Там, в саду, – сказал я. – Но ты не опоздал. Видишь, ровно полдевятого.

Он прошел к письменному столу и выдвинул стул. От него еще пахло улицей. Холодным воздухом, лесом, песком, асфальтом.

– Ты не трогал мои кассеты?

– Нет.

– А что ты делаешь в моей комнате?

– Ничего, – сказал я.

– Не мог бы ты заняться этим у себя?

Внизу снова открылась входная дверь. На этот раз послышались тяжелые папины шаги. Сапоги он снял, как обычно,

перед тем как войти, и сейчас направлялся в ванную переодеваться.

– Я видел в новостях лицо в море, – сказал я. – Ты уже слышал? Не знаешь, еще кто-нибудь это видел?

Ингве кинул на меня немного насмешливый, отстраненный взгляд:

– Что ты мелешь?

– Ты знаешь, что погибла рыбацкая шхуна?

Он нехотя кивнул.

– Когда в новостях показывали место, где она затонула, я увидел на воде лицо.

– Утопленника?

– Нет. Оно было ненастоящее. Волны как будто сложились в человеческое лицо.

Секунду он смотрел на меня, не говоря ни слова. Затем повертел пальцем у виска.

– Ты что, не веришь? Это по правде было.

– Правда, что ты ноль без палочки.

Тут папа отвернул в ванной кран, и я подумал, что мне лучше бы удалиться в свою комнату, чтобы не встретиться с ним в коридоре. Но оставлять последнее слово за Ингве не хотелось.

– Сам ты ноль без палочки, – заявил я.

Он даже не удосужился ответить. Только обернулся через плечо и, выставив верхние зубы, громко зашипел, пропуская через них воздух, как кролик. Это был намек на мои торча-

щие передние зубы. Я отвернулся и вышел из комнаты, пока он не увидел, что у меня дрожат губы. Реветь можно, когда ты один. Кажется, все в порядке. Он вроде бы ничего не заметил.

Переступив порог своей комнаты, я остановился и подумал, не пойти ли в ванную. Там можно ополоснуть лицо холодной водой и смыть слезы. Но по лестнице как раз поднялся папа, и я удовольствовался тем, что вытер глаза рукавом. Сквозь тонкий слой размазанной влаги форма и цвет предметов поплыли, как будто комната вдруг погрузилась под воду; впечатление было таким живым, что я, идя к письменному столу, сделал несколько взмахов руками, как будто плыву. Мысленно я представлял себе, что на мне надет металлический шлем, как у водолазов. Они ходят по дну в сапогах со свинцовыми подошвами, одетые в толстые, как слоножья кожа, костюмы с кислородным шлангом, который тянется от шлема, как хобот. Я задышал ртом коротко и шумно и стал расхаживать по комнате тяжелой и плавной походкой, как старинные водолазы, пока страх, с которым граничила эта фантазия, не стал просачиваться внутрь меня, точно холодная вода.

Несколько месяцев назад я посмотрел телесериал «Таинственный остров» по роману Жюль Верна, и история о том, как люди, залетевшие на воздушном шаре на безлюдный остров в Атлантическом океане, с первых же кадров произвела на меня сильнейшее впечатление. Картина была захватываю-

шая. Воздушный шар, ураган, одетые по моде девятнадцатого века люди, суровый необитаемый остров, на который они попали, но, очевидно, вовсе не такой уж необитаемый, как им показалось сначала, так как вокруг то и дело происходили всякие загадочные и необъяснимые вещи... Но кто же были те, другие? Ответ пришел неожиданно в конце одного из эпизодов. Оказалось, что в подводной пещере кто-то есть... Какие-то человеческие фигуры... Свет фонарей выхватывал гладкие головы с масками на лицах... Плавники... Они напоминали ящериц, вставших на задние ноги... На спине – какие-то емкости... Один обернулся – у него не было глаз.

Я не вскрикнул, но ужас, охвативший меня от увиденного, сделался неотступным; иногда меня среди бела дня при одном воспоминании об аквалангистах в пещере охватывал внезапный страх. А теперь я мысленно превращался в одного из них. Мое шумное дыхание стало их дыханием, мои шаги – их шагами, руки – их руками, а закрывая глаза, я видел перед собой их безглазые лица. Пещера... черная вода... вереница аквалангистов с фонарями в руках... Доходило до того, что я и с открытыми глазами продолжал их видеть. До того даже, что страх не отпускал меня и в моей комнате, среди собственных, хорошо знакомых вещей. Я не смел шелохнуться от ужаса, что сейчас что-то случится. Я машинально сел на кровать, негнушимися руками потянул к себе ранец, кинул взгляд на расписание, нашел в нем среду, прочитал, что было написано: математика, окружающий мир, музыка,

переставил ранец себе на колени и, прислонившись к стене, начал читать книгу. Сначала я вскидывал взгляд каждую секунду, но постепенно эти интервалы превратились в минуты, а когда папа крикнул мне, что пора ужинать, уже ровно девять, я был целиком поглощен книгой, а не страхом и с трудом от нее оторвался.

Резать хлеб и включать электрическую плиту нам с братом не разрешали: ужин готовили мама или папа. Если мама работала в вечернюю смену, все делал папа: когда мы приходили на кухню, на столе уже стояли два стакана с молоком и две тарелки с четырьмя готовыми бутербродами. Бутерброды он обыкновенно приготавливал заранее и оставлял до ужина в холодильнике, холодные бутерброды не лезли в горло, даже если они были с чем-нибудь, что мне нравилось. Когда дома была мама, то продукты для бутербродов доставала из холодильника она или мы с братом, и этот простой прием, который позволял нам самим выбирать, что подать на стол и с чем сделать бутерброды, в сочетании с хлебом комнатной температуры, рождал ощущение свободы: а раз уж мы могли сами открыть кухонный шкаф, сами достать чуть дребезжащие тарелки и расставить их на столе, выдвинуть ящик буфета и достать позвякивающие столовые приборы, положить рядом с тарелкой нож; раз могли вынуть и поставить на стол стаканы, достать из холодильника молоко и сами налить его в стакан, то, разумеется, могли и поговорить, а

не сидеть точно набрав в рот воды. Это получалось само собой: одно как бы влекло за собой другое, когда нас кормила ужином мама. Мы болтали обо всем, что ни придет в голову, ей было интересно слушать наши рассказы, а если при этом кто-то нечаянно плеснет молоком на стол или, забывшись, положит использованный чайный пакетик на скатерть (потому что мама иногда давала нам чай), то в этом не было ничего страшного. Но если наше участие в приготовлении ужина приоткрывало эти шлюзы свободы, то их ширина зависела от папиных нервов. Если папа в это время находился в саду или внизу в кабинете, разговоры велись как угодно громко и свободно и можно было, не задумываясь, размахивать руками. Когда на лестнице раздавались его шаги, мы автоматически понижали громкость и меняли тему беседы, словно считая ее неподходящей для его ушей; если он заходил на кухню, мы совсем умолкали и сидели вытянувшись в струнку с таким видом, точно все наши мысли заняты только едой; если же он проходил в гостиную, мы продолжали говорить, но уже тише и осторожнее.

Сегодня, войдя на кухню, мы увидели на столе тарелки с четырьмя заранее приготовленными бутербродами. Один с коричневым сыром, второй с желтым, третий с сардинами в томате, четвертый с пряным сыром. Сардины я не любил и поэтому начал с них. Рыбу у меня душа не принимала, вареная треска вызывала рвотные позывы, а она подавалась у нас по крайней мере раз в неделю: я не выносил ни запа-

ха из кипящей кастрюли с рыбой, ни ее консистенции. То же самое, разумеется, относилось и к вареной сайде, сельди, камбале, макрели и морскому окуню. В сардинах самым противным был не вкус, а их консистенция и, главное, тоненький, скользкий хвостик. Смотреть на него было омерзительно. Чтобы минимизировать контакт, я начинал с них – откладывал хвостики на край тарелки и, кучкой собрав на краю бутерброда немного томатного соуса, засовывал в него хвостики и зажимал в хлебе. В таком виде можно было откусить и жевать этот краешек, не ощущая хвостов; чуть пожевав, я поскорее запивал этот кусок молоком. Но в отсутствие папы, как сегодня, можно было просто засунуть хвостики в карман.

Ингве глянул, как я это делаю, нахмурился и покачал головой, а потом улыбнулся. Я тоже улыбнулся в ответ.

За дверью в гостиную шевельнулся в кресле папа. Тихонько брякнул спичечный коробок, в следующий миг по его шероховатой стенке чиркнула спичка, вспыхнула с резким шипением, тотчас утонувшим в безмолвии загоревшегося огонька. Через несколько секунд в кухню потянуло сигаретным дымом, Ингве привстал и как можно тише приоткрыл окно. Звуки, ворвавшиеся в тишину из наружной тьмы, совершенно преобразили царившее в кухне настроение. Внезапно она сделалась частью окружающего ландшафта. «Мы сидим, как будто на уступе скалы», – подумал я. При этой мысли волосы на предплечье встали дыбом. Подымающий-

ся ветер шумел в лесу, шуршал в кустах и деревьях перед домом. С перекрестка доносились голоса ребят с велосипедами, продолжавших свои разговоры. На горке возле моста взревел, прибавив скорость, мотоцикл. А надо всем реяло далекое тарахтенье мотора – рыбацкая лодка возвращалась из пролива.

Ну конечно же, он меня услышал! Услышал мои шаги, как я бегу по гравию!

– Махнемся? – тихонько предложил Ингве, кивнув на бутерброд с пряным сыром.

– Давай! – согласился я.

Радуюсь, что разгадал загадку, я доел последний кусок бутерброда с сардинами, запил крошечным глоточком молока и принялся за другой, который положил на мою тарелку Ингве. Надо было следить, чтобы молока хватило на все, если не оставить ничего на запивку, одолеть последний бутерброд будет практически невозможно. Лучше приберечь немного молока напоследок, когда все бутерброды будут доедены, потому что молоко вкуснее всего, когда ничего им не запиваешь, а пьешь в чистом, беспримесном виде, но это мне почти никогда не удавалось: текущая потребность всегда брала верх над отложенным желанием, каким бы заманчивым оно ни казалось.

А вот Ингве так мог. Он был мастером экономии.

Наверху у Престбакму кто-то трижды топнул сапогами по лестнице. Затем пространство огласили три коротких воз-

гласа:

– Гейр! Гейр! Гейр!

Ответ донесся со стороны дома, где жил Юнн Бек, ровно через такой промежуток времени, что всем, кто его услышал, стало понятно – человек сначала подумал, а потом решил ответить.

– Тута!

Затем с улицы слышались его бегущие шаги. Когда их звук поравнялся с изгородью Густавсена, папа в гостиной поднялся. Что-то в его походке заставило меня пригнуть голову. Ингве тоже пригнулся. Папа вошел в кухню, приблизился к столу, потянулся без единого слова рукой к окну и резко его закрыл.

– Вечером мы держим окно закрытым, – сообщил он.

Ингве кивнул.

Папа перевел взгляд на нас.

– Давайте кончайте и собирайтесь ко сну! – сказал он.

Только дождавшись, когда он снова усядется в гостиной, мы с Ингве переглянулись.

– Ха-ха! – сказал я шепотом.

– Ха-ха! – шепотом ответил он. – Между прочим, к тебе это тоже относится.

Он обогнал меня на два бутерброда и почти сразу ушел к себе в комнату, а я остался сидеть за столом и еще несколько минут доедал свои бутерброды. Я думал после ужина зайти к папе и сказать, что в новостях, наверное, еще раз покажут

репортаж, где было лицо на море, но ввиду сложившихся обстоятельств от этого плана, возможно, стоило отказаться.

Или нет?

Я решил действовать по обстоятельствам. Обыкновенно я, выходя из кухни, заглядывал в гостиную, чтобы пожелать ему доброй ночи. Если настроение у него будет нормальное или даже, на мое счастье, хорошее, то скажу. Если не повезет, то нет.

Оказалось, что он, вместо того чтобы, как всегда, расположиться перед телевизором в одном из двух кресел, на этот раз устроился на диване в глубине комнаты. Теперь, чтобы вступить с ним в контакт, я уже не мог как бы мимоходом заглянуть с порога и сказать «спокойной ночи», что получилось бы, сиди он в кресле: нужно было переступить порог и зайти в комнату. Он, конечно же, сразу поймет, что я зашел не просто так. Разведать обстановку уже не выйдет и придется действовать без подготовки, независимо от того, каким тоном он отзовется.

Я понял это, только уже выйдя из кухни, а поскольку растерялся и остановился, то теперь мне уже не оставалось выбора, потому что он, конечно же, слышал, что я остановился, и сразу догадался, что я собираюсь с чем-то к нему обратиться. И вот я сделал оставшиеся четыре шага, которых не доставало, чтобы оказаться в его поле зрения.

Он сидел нога на ногу, положив один локоть на спинку дивана и подперев свободной рукой откинутую назад голову.

Взгляд его, только что обращенный на потолок, направился на меня.

– Спокойной ночи, папа, – сказал я.

– Спокойной ночи.

– В ночных новостях, наверное, еще раз это покажут, – сказал я. – Вот я и решил, что надо тебе сказать. Чтобы вы с мамой тоже увидели.

– Что покажут? – спросил он.

– Кадры, в которых было лицо.

– Лицо?

Вероятно, я остался стоять с раскрытым ртом, потому что он внезапно опустил челюсть и посмотрел на меня разинув рот, что, как я понимал, изображало то, как я выгляжу.

– О котором я тебе рассказывал.

Он закрыл рот и выпрямился, не спуская с меня глаз.

– Хватит! Наговорились уже про это лицо, – сказал он.

– Да, папа.

Повернув назад и выходя в коридор, я уже почувствовал, как его внимание переключилось и отпустило меня. Я почистил зубы, переоделся в пижаму, зажег лампочку над кроватью, затем выключил верхний свет, лег в кровать и стал читать.

Вообще-то разрешалось почитать только полчаса, до половины десятого, но я обычно тянул до пол-одиннадцатого, пока не приедет с работы мама. Так было и в тот вечер. Заслышав, как мамин «жук» сворачивает наверх с шоссе, я по-

ложил книжку на пол и выключил свет, дожидаясь, когда хлопнет дверца машины, затем послышатся мамины шаги по гравию дорожки, откроется входная дверь, потом – как она снимает в прихожей верхнюю одежду и, наконец, раздаются ее шаги на лестнице... Все в доме как-то менялось, когда она приходила, и самое непонятное, что я это ощущал; даже если я, например, засыпал, не дождавшись ее прихода, а потом вдруг просыпался среди ночи, то сразу же чувствовал, что она дома: в общей атмосфере менялось что-то такое, чего я не мог точно определить, но это всегда действовало успокоительно. Так же бывало и в мое отсутствие, когда она возвращалась домой раньше обычного: едва ступив в прихожую, я понимал, что она дома.

Я бы с удовольствием поговорил с ней, про лицо она поняла бы лучше всех, но настоящей потребности в этом я не ощущал. Главное – что она тут. Я слышал, как она, поднимаясь наверх, положила на телефонный столик связку ключей, открыла раздвижную дверь, что-то сказала папе и снова задвинула ее за собой. Время от времени, особенно когда она дежурила в выходные, он готовил к ее приходу ужин. Иногда они в этих случаях ставили пластинки. Иногда на кухонном столе оставалась потом бутылка вина, всегда одного и того же, недорогого красного, норвежского производства, изредка – пиво, тоже всегда одного сорта – пилснер «Арендал», две-три коричневые бутылки по 0,7 литра с корабликом на золотой этикетке.

Но не сегодня. И я был этому рад. Потому что если они не садились вместе ужинать, то смотрели телевизор, а мне только этого и надо было, чтобы осуществить мой план, очень простой и в то же время дерзкий: за несколько секунд до одиннадцати я собирался тихонько встать с кровати, пройти на цыпочках в коридор, приоткрыть на щелку раздвижную дверь и посмотреть по телевизору вечерние новости. Ничего подобного я никогда раньше не делал, мне это даже в голову не приходило. Чего нельзя, того я не делал. Никогда. Ни разу в жизни я не сделал ничего такого, что мне запрещал делать отец. Разве что нечаянно. Но тут был другой случай, поскольку дело касалось их, а не меня. Я-то уже видел лицо на поверхности моря, и мне незачем было смотреть на него еще раз. Я хотел только выяснить, увидят ли они то же, что я.

Так я думал, лежа в темноте, следя глазами за светящимися зеленоватыми стрелками будильника. Когда стояла такая тишина, как сейчас, мне был слышен шум машин на шоссе. Звуковая дорожка начиналась в том месте, где они въезжали на вершину холма возле нового супермаркета «Б-Макс», продолжалась до перекрестка у Холтета, проходила мимо въезда в Гамле-Тюбаккен, поднималась вверх до моста и бесследно обрывалась с такой же внезапностью, как появлялась полминуты назад.

Без десяти одиннадцать хлопнула дверь в доме через дорогу, наискосок от нас немного выше по склону. Я поднялся с кровати и, став на колени, выглянул в окно. Это была фру

Густавсен, она шла через подъездную дорожку, в руках у нее был мешок с мусором.

Я понял, что передо мной редкое зрелище, только когда увидел ее. Фру Густавсен почти никогда не показывалась на улице; ее можно было увидеть либо в доме, либо на пассажирском сиденье их синего «форда-таунуса». Об этом я знал, но никогда раньше не задумывался. Только сейчас, когда она подошла к мусорному контейнеру и, открыв крышку, опустила в него мешок и снова закрыла, двигаясь с ленивой грацией, которая свойственна многим полным женщинам, я вдруг понял: а ведь она никогда не выходит на улицу.

От фонаря, стоявшего за нашей живой изгородью, на нее падал резкий свет, но, в отличие от предметов, которые ее окружали – мусорного контейнера, белой стенки кемпера, каменных плит – и которые отражали этот пронзительный холодный свет, ее тело как бы поглощало его и смягчало. Чуть светились голые до плеч руки, мерцала ткань белой вязаной безрукавки, густые, каштановые с проседью волосы отливали золотом.

Она немного постояла, поглядела по сторонам, сначала на дом Престбакму, затем на дом Хансенов, затем на лес через дорогу.

Гулявшая по двору кошка остановилась и посмотрела на нее. Фру Густавсен несколько раз провела ладонью себе по плечу. Затем повернулась и ушла в дом.

Я снова взглянул на часы. Без четырех минут одина-

дцать. Мне стало что-то холодно, и я подумал, не надеть ли свитер, но решил, что тогда, если меня обнаружат, это будет выглядеть подозрительно. Да и уйдет на мою вылазку всего несколько минут.

Я подкрался к двери и приложил к ней ухо. Единственным опасным моментом было то, что туалет находился с моей стороны раздвижной двери. Стоя за ней, я мог контролировать ситуацию и, заметив, что они встают, вовремя скрыться, но, если они уже подошли к закрытой двери, я узнаю об этом слишком поздно.

Но в таком случае можно сказать, что я шел в туалет!

Обрадованный, что решение найдено, я осторожно открыл свою дверь и вышел в коридор. Все было тихо. Крадучись я двинулся вперед по коридору, ощущая вспотевшими подошвами сухость ковролина, подошел к раздвижной двери – оттуда не доносилось ни звука – чуть-чуть отодвинул дверь и заглянул в щелку.

Телевизор в углу был включен. Оба кожаных кресла стояли пустые.

Значит, они на диване, сидят вместе.

Отлично!

Тут на экране закружился глобус с буквой «Н». Я молил Бога, только бы показали тот же репортаж, чтобы папа и мама увидели то, что видел я.

Диктор начал передачу с сообщения о пропавшей в море рыболовной шхуне, и сердце у меня так и забилося. Но на

этот раз показали другой репортаж: вместо кадров волнующегося моря появились другие – интервью на мосту с местным ленсманом, затем возникла женщина с ребенком, затем сам репортер, говорящий на фоне бушующего моря.

Когда репортаж закончился, в комнате раздался папин голос, затем смех. Меня охватил такой стыд, что я был как в тумане. Ощущение, словно я весь побелел. В детстве у меня только внезапное чувство стыда могло сравниться по силе со страхом, не считая разве что неожиданных приступов ярости; все три ощущения имели между собой то общее, что они словно изничтожали меня самого. Чувство затмевало все остальное. Поэтому, уходя в свою комнату, я уже не замечал ничего вокруг. Я знаю, что окно на лестнице наверняка было такое темное, что в нем стояло отражение коридора, знаю, что дверь в комнату Ингве наверняка была закрыта, как и двери в спальню родителей и в ванную. Знаю, что связка маминых ключей лежала на телефонном столике растопырившись, словно фантастический спящий зверь с кожаной головой и множеством металлических ножек, знаю, что рядом стояла полуметровая керамическая напольная ваза с сухоцветами и соломкой, существуя как бы отдельно от синтетического коврового покрытия на полу. Но я ничего не видел, ничего не слышал, ничего не думал. Я зашел в комнату, лег в кровать и погасил свет, а когда меня охватила тьма, я вдохнул воздух так глубоко, что внутри у меня все задрожало, мышцы напряглись и как бы выдавили из меня рыда-

ния, такие громкие, что пришлось глушить их, уткнувшись в мягкую и скоро насквозь промокшую подушку. Стало легче, как бывает после того, как тебя вырвет. Когда слезы перестали течь, я еще долго не спал и продолжал всхлипывать. Это было по-своему хорошо. Когда и это хорошее закончилось, я перевернулся на живот, подсунул руку под голову и закрыл глаза.

С тех пор минуло более тридцати лет. Сейчас, когда я это пишу, в окне передо мной маячит мое собственное лицо. За исключением блестящего глаза и проступающей под ним зоны под скулой, которая слабо белеет в стекле, вся левая сторона лица погружена в густую тень. Две глубокие вертикальные морщины на лбу, глубокие складки вдоль щек, все как бы наполнены тьмой, а когда взгляд неподвижен и серьезен, а углы рта опущены, такое лицо не назовешь иначе как мрачным.

Что на нем запечатлелось?

Сегодня 27 февраля 2008 года. Время – 23:43. Я, пишущий эти строки, Карл Уве Кнаусгор, родился в декабре 1968 года, так что в настоящий момент мне тридцать девять лет. У меня трое детей – Ванья, Хейди и Юнн, я женат вторым браком на Линде Бустрём Кнаусгор. Все четверо сейчас спят здесь в разных комнатах квартиры в Мальмё, в которой мы живем вот уже четыре года. Кроме некоторых родителей, которых мы знаем по детскому саду, в который ходят Ванья и

Хейди, мы тут больше ни с кем не знакомы. Мы от этого не страдаем, по крайней мере я, потребности в общении я не испытываю. Я никогда не говорю то, что думаю на самом деле, а, как правило, подлаживаюсь под того, с кем в данный момент разговариваю, делаю вид, будто это меня интересует, за исключением тех случаев, когда я выпью, тут я зачастую, наоборот, перегибаю палку в другую сторону, и тогда во мне пробуждается страх зайти слишком далеко. С годами эта тенденция усилилась, и теперь такое состояние может длиться неделями. Когда я напиваюсь, я уже ничего не помню, так что я полностью теряю контроль над своими поступками, иногда шальными и дурацкими, но порой шальными и опасными. Поэтому я больше не пью. Я не хочу никого подпускать к себе близко, не хочу, чтобы меня кто-то видел, а потому так все и сложилось: никто ко мне не приближается, никто меня не видит. Вероятно, это и отпечаталось на лице, сделав его застывшим и до того похожим на маску, что даже мне самому, когда я случайно замечу его отражение в витрине, не верится, что это я.

Единственное на лице, что не стареет, – это глаза. С рождения и до смертного часа они остаются одинаково ясными. Бывает, конечно, что в них лопнет сосудик или роговица помутнеет, но то, что в них светится, остается все тем же. Есть одна картина, на которую я всегда хожу смотреть, когда бываю в Лондоне, и она всякий раз меня поражает. Это позд-

ний автопортрет Рембрандта. Картины позднего Рембрандта, как правило, грубого письма, в них все подчинено мгновенному впечатлению, они словно бы излучают свет и исполнены святости и до сих пор остаются непревзойденными шедеврами в искусстве, не считая – при всей, казалось бы, несопоставимости – позднего Гельдерлина в его последних стихотворениях, ибо свет Гельдерлина, рожденный волшебством стиха, – это сплошной небесный эфир, в то время как свет Рембрандта, рожденный из красок, – это свет земли, металла, материи, но вот эта картина в Лондонской национальной галерее, написанная в несколько более реалистической манере, скорее напоминает молодого Рембрандта. Однако изображен на портрете старик. С него смотрит сама старость. Лицо прописано во всех деталях, по ним можно проследить все отметины, оставленные жизнью. Оно изображено морщинами, под глазами мешки, время прошло по нему безжалостно. Но глаза – ясные, они хоть и не молоды, но словно бы остались вне времени, которым затронута все остальное. Словно оттуда на нас смотрит кто-то другой, скрытый за этим лицом, на котором все иначе. Ближе подступить к душе другого человека, наверное, очень трудно. Все, что относится к личности Рембрандта, – его привычки, хорошие и дурные, телесные запахи и звуки, его голос и лексикон, его мысли и мнения, его манеры, физические пороки и изъяны – все, что составляет образ личности в глазах окружающих, – уже минуло: картине четыреста с лишним лет,

Рембрандт умер в год ее создания; но то, что на ней изображено, что написал Рембрандт, отражает самое существо запечатленного на ней человека, — это то, к чему он, проснувшись, возвращался каждое утро и что тотчас же погружалось в мир мыслей и чувств, само не будучи мыслью и чувством, та сущность, которую он покидал каждый вечер, погружаясь в сон, пока не покинул ее навсегда, заснув вечным сном, та, что светится в глазах человека и неподвластна времени. Разница между этой картиной и другими полотнами позднего Рембрандта выражается в разнице между тем, чтобы видеть и быть увиденным со стороны. То есть на этом портрете он одновременно видит, как смотрит сам и как видят его другие. Такая картина, наверно, могла возникнуть только в эпоху барокко с его пристрастием к зеркалу в зеркале, пьесы в пьесе, с его театральностью, с верой во взаимосвязанность всех вещей, когда уровень мастерства достиг небывалых и уже неповторимых высот. Но вот эта картина существует в наше время и смотрит на нас.

* * *

В ночь, когда родилась Ваня, она несколько часов лежала и глядела на нас. Глаза ее были как два черных светильника. Тельце — в крови, длинные волосики прилипли к головке, а движения — замедленные, как у пресмыкающегося. Она лежала у Линды на животе, словно какое-то лесное существо,

и все смотрела на нас. Мы не могли наглядеться на нее и на то, как она смотрит. Но что было в этом взгляде? Тишина, невозмутимый покой, тьма. Я высунул язык. Прошла минута, и она тоже высунула язычок. Никогда еще в моей жизни не было столько надежды, столько радости. Теперь ей четыре года, и все изменилось. Глазки у нее быстрые, в них одинаково легко вспыхивают ревность и радость, горе и гнев, она уже вполне освоилась в мире и порой ведет себя до того нахально, что я совершенно теряю всякое соображение и, бывает, даже ору на нее и трясу, пока она не заплачет. Но чаще она просто смеется. В последний раз, когда я на нее разозлился и стал трясти, а она только смеялась, я вдруг сообразил приложить руку к ее груди.

Ее сердце так и колотилось. Как же оно колотилось!

* * *

Утро. На часах самое начало девятого. Сегодня четвертое марта 2008 года. Я сижу в рабочем кабинете, окруженный книгами от пола до потолка, слушаю шведскую группу «Дюнген» и думаю о том, что я написал и к чему это ведет дальше. Линда и Юнн спят в соседней комнате. Ванья и Хейди в детском саду, куда я отвел их полчаса назад. В огромном здании отеля «Хилтон», что напротив, на котором все еще лежит тень, непрерывно снуют вверх и вниз лифты в стеклянных шахтах, расположенных на фасаде. Рядом – дом

из красного кирпича, судя по обилию арок и карнизов, постройки конца девятнадцатого – начала двадцатого века. За ним виднеется кусок городского парка с голыми деревьями и зеленой травой, дальше вид загораживает серое здание семидесятых годов, заставляя обратить взгляд на голубое небо, которое впервые за последние недели прояснилось.

За полтора года я уже хорошо изучил этот ландшафт и все его настроения, меняющиеся в течение дня и на протяжении года, но привязанности к нему не испытываю. Все это ничего для меня не значит. Возможно, как раз этого я и искал, потому что мне определенно нравится отсутствие привязанности, возможно, это удовлетворяет какую-то внутреннюю потребность, но сознательного выбора тут не было. Шесть лет назад я жил и писал в Бергене, и, хотя не думал прожить там всю жизнь, я вовсе не собирался уезжать в другую страну и расставаться с женщиной, на которой был тогда женат. Напротив, мы предполагали завести детей и перебраться в Осло, где я и дальше писал бы романы, а она продолжала бы работать на радио и телевидении. Но то наше будущее, бывшее, по сути дела, продолжением того нашего настоящего – с его привычным укладом, обедами с друзьями и знакомыми, поездками в отпуск, посещением родителей и тещи с тестем и плюс будущие дети, которыми мы собирались обзавестись, – так и не состоялось. Но тут что-то произошло, я вдруг взял и уехал в Стокгольм, рассчитывая провести там несколько недель, да там и прижился. В моей жизни поменя-

лись не только страна и город, но и все человеческое окружение. Странно было так поступить, но еще более странно, что я никогда об этом не задумывался. Как я тут очутился? Почему так случилось?

Когда я приехал в Стокгольм, знакомых у меня там было только два человека, да и те не очень: Гейр, с которым мы до того общались пару недель в Бергене весной 1990 года, то есть двенадцать лет назад, и Линда, которую я встретил весной 1999 года на семинаре для молодых писателей в Народном университете Бископс-Арнё. Я связался по имейлу с Гейром и спросил его, нельзя ли мне у него остановиться, пока я не устроюсь с жильем, и он согласился. Приехав, я подал объявления в две шведские газеты, что ищу жилье, и получил больше сорока предложений, из которых отобрал два. Одна квартира находилась на Бастюгатан, другая на Бреннчюркагатан. Посмотрев обе, я выбрал последнюю и только тут взглянул на список жильцов в подъезде – и увидел в нем имя Линды. Какова вероятность подобного совпадения? В Стокгольме больше полутора миллионов жителей. Если бы квартиру мне сосватал кто-то из друзей или знакомых, тут не было бы ничего особенно удивительного, ведь круг литераторов везде довольно тесен, независимо от величины города, – но адрес попал ко мне через безымянное газетное объявление, которое читали сотни тысяч людей, и откликнувшаяся на него женщина, разумеется, ни меня, ни Линду не знала. Я тотчас решил искать другую квартиру – вдруг

Линда подумает, будто я ее преследую? Однако это был знак. И оказалось, что неспроста. Потому что сейчас я женат на Линде и у нас с ней трое детей. Теперь свою жизнь я делю с ней. Единственное напоминание о прошлой жизни – это книги и пластинки, которые я забрал с собой. Все остальное я оставил. И если тогда я часто думал о прошлом – так часто, что в этом было даже нечто болезненное, потому что я не просто читал «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, а прямо упивался этой книгой, – то теперь мысли о прошлом посещают меня очень редко. Во многом, полагаю, потому, что у нас появились дети, и жизнь с ними здесь и сейчас поглощает все остальное. Она вытесняет даже самое недавнее прошлое: спросите меня, что я делал три дня назад, и я ничего не смогу вспомнить. Спросите, какой была Ванья два года тому назад, Хейди два месяца назад, Юнн две недели назад, и я не вспомню. В маленькой обыденной жизни много чего происходит, но все в рамках одного и того же, и это более всего повлияло на мое представление о времени. Ибо если раньше я представлял себе время как некую дистанцию, которую предстоит преодолеть, а будущее мне виделось как далекая и, скорее всего, сияющая перспектива и уж во всяком случае никогда не казалось скучным, то теперь оно неразрывно связано с жизнью здесь и сейчас. Если нужен образ, то я выбрал бы корабль в шлюзе: жизнь так же медленно и неуклонно поднимается, подпираемая временем, которое незаметно вливается отовсюду, приподнимая корабль.

За исключением отдельных деталей, все остается как было. И с каждым днем нарастает нетерпение: поскорей бы наступил тот миг, когда жизнь поднимется вровень с бортом шлюза, ворота наконец откроются и нас снова подхватит живой поток. В то же время я понимаю, что эта повторяемость, эта замкнутость в тесных рамках, эта неизменность необходима, она меня защищает, ибо в те редкие моменты, когда я покидаю свое прибежище, на меня снова обрушиваются привычные напасти. Я снова оказываюсь в плену всевозможных мыслей о том, кто что сказал, увидел, о чем подумал, меня словно выбрасывает в неподконтрольное, бесплодное, зачастую унижительное и в конечном счете деструктивное пространство, в котором я жил столько лет. Там стремление вырваться так же сильно, как и здесь, но разница в том, что там его цель реализуема, а здесь – нет. Здесь мне остается только нацелиться на что-то другое и на том успокоиться. Искусство жить – вот о чем я веду речь. На бумаге это не проблема, тут я могу в любой момент вызвать, например, образ Хейди, как она в пять утра выкарабкивается из решетчатой детской кроватки и тихонько топает в темноте по полу, чтобы в следующую секунду зажечь свет и предстать передо мной, полусонным, с трудом продирающим глаза, с одним словом: «Кухня». Язык у нее еще своеобразный (слова в нем отличаются от общепринятого значения, и «кухня» означает мюсли с черничным йогуртом. Точно так же свечка у нее – это «позавляю»). Хейди большеглазенькая, боль-

шеротенькая девочка со здоровым аппетитом, она смышленный и во всех отношениях ненасытный ребенок, но ту здоровую, несокрушимую жизнерадостность, которой она отличалась в свои первые полтора года жизни, этой осенью после рождения Юнна пригасили другие, прежде несвойственные ей эмоциональные проявления. В первые месяцы она не упускала случая причинить ему вред. Царапины на его личике были скорее правилом, чем исключением. Когда я вернулся домой из Франкфурта после четырехдневной отлучки, Юнн выглядел так, точно побывал на войне. Нам пришлось туго. Чтобы не изолировать Хейди от братика, мы вынуждены были угадывать ее настроение и соответственно регулировать их общение. Но даже когда она бывала в самом лучезарном настроении, ее ручонка могла вдруг молниеносно взметнуться и ударить или поцарапать его. Одновременно у нее начались приступы неудержимой ярости, хотя еще два месяца назад я бы просто не поверил, что такое возможно, и к тому же откуда ни возмись появилась необычайная обидчивость: при малейших признаках суровости в моем тоне или поведении ребенок опускает голову, отворачивается и начинает плакать, как будто показать нам свою злость она хочет, а огорчение скрывает. Когда я пишу это, меня переполняет умиление. Но только на бумаге. В жизни, когда она действительно заявляется ко мне в такую рань, что на улице еще тихо, а в доме не слышно ни звука, сияющая от радости, что снова настало утро, и я заставляю себя встать, натяги-

ваю вчерашнюю одежду и иду за ней на кухню, где ее ждет любимый черничный йогурт и мюсли без сахара, я чувствую отнюдь не умиление, а если она еще и испытывает мое терпение, и клянчит, чтобы ей дали посмотреть мультики, или пытается проникнуть в комнату, где спит Юнн, короче говоря, каждый раз, когда она не понимает слова «нельзя» и не перестает приставать, мое раздражение нередко переходит в злость и я начинаю говорить с ней строгим голосом, а когда на глазах у нее выступают слезы и она прячет лицо, отворачивается от меня и стоит понутив голову, я думаю: «Ну и поделом тебе». Осознание того, что ей всего два года, приходит только вечером, когда они засыпают, а я наконец задумываюсь, что же я делаю. Но это уже при взгляде со стороны. Пока я в гуще событий, мне не до того. Пока ты варишься в них, надо думать о том, как пережить утро, эти три часа с их сменой подгузников, переодеваниями, завтраком, умыванием, чисткой зубов, расчесыванием и закалыванием волос, пресечением ссор, разниманием драк, натягиванием комбинезончиков и сапожек, прежде чем с двойной коляской в одной руке, а другою подталкивая перед собой двух дочек, зайти в лифт, где, пока мы спускаемся, нередко начинается толкотня и вопли, затем, выйдя на площадку, посадить обеих в коляску, надеть им шапочки и варежки и выехать на улицу, уже полную спешащих на работу людей, спустя десять минут сдать их с рук на руки воспитательнице детского сада, получив пять часов времени для работы, после чего вновь

приниматься за ежевечерние хлопоты вокруг детей.

У меня всегда была велика потребность побыть одному, мне необходимы большие пространства одиночества, и, когда я его лишен, как в последние пять лет, моя подавленность переходит в панику или агрессию. И когда под угрозой оказывается то, что поддерживало меня всю мою взрослую жизнь, — честолюбивая надежда написать однажды нечто выдающееся, то меня грызет, точно крыса, единственная мысль: надо куда-нибудь бежать. Мысль о том, что время летит, неудержимо утекает, как песок сквозь пальцы, а я между тем... А что — я? Мою пол, стираю белье, готовлю обед, мою посуду, хожу в магазин, играю с детьми на детской площадке, веду их домой, раздеваю, купаю, нянчусь с ними, укладываю спать, вешаю одежду в сушилку, складываю, убираю в шкаф, прибираюсь, вытираю стол, стулья, шкафы. Это борьба, пусть и не героическая, но неравная, потому что, сколько бы я ни работал по дому, в квартире все равно грязь и беспорядок, а дети, с которых, пока они не спят, я ни на минуту не спускаю глаз, — это самые вредные из всех известных мне детей; временами у нас тут просто сумасшедший дом, возможно, потому, что мы так и не выработали необходимого баланса между педагогической дистанцией и родительской близостью, который еще важнее, когда кипят страсти. А это у нас то и дело случается! У Ваньки месяцев в восемь начались сильнейшие эмоциональные выплески, порой чуть ли не припадки, когда утешать ее было бесполезно, она заходи-

лась в крике. Единственное, что мы могли, – это держать ее, пока приступ не пройдет. Что их вызывало, трудно сказать, но часто они бывали, когда она получала слишком много новых впечатлений, как, например, после поездки к бабушке под Стокгольм, где рядом было много других детей, или когда мы целый день гуляли по городу. Она могла реветь точно не в себе, изо всех сил, дойдя до предела, она поднимала крик и была безутешна. Чувствительность и волевая натура – то еще сочетаньице. Ей и так было нелегко, а тут еще родилась Хейди. К сожалению, я не могу похвастаться, что я вел себя тогда сдержанно и разумно. Увы, на самом деле все было не так; в таких случаях во мне тоже вскипала злость и я не мог справиться со своими чувствами, что только усугубляло положение, причем зачастую на глазах у почтенной публики; иногда доходило до того, что я, не помня себя от ярости, хватал девочку с пола в каком-нибудь торговом центре Стокгольма, закидывал на плечо, словно мешок с картошкой, да так и нес по улицам, покуда она брыкалась, размахивала руками и отчаянно вопила. Иной раз я и сам орал на нее в ответ, швырял на кровать и держал, пока она не переставала орать и биться как одержимая. Она очень рано поняла, чем можно довести меня до белого каления, это были особого рода крики – не плач, не рыдания, не истерика, а ничем не вызванный, преднамеренный, агрессивный вопль, от которого я свирепел, совершенно теряя контроль над собой, вскакивал и набрасывался на бедную девочку, орал на

нее и тряс за плечи, пока вопли не сменяются плачем, тело не обмякнет и она не даст себя утешить.

Оглядываясь назад, я поражаюсь, как она в свои два года сумела добиться того, что заправляла всей жизнью в семье. Однако у нее получилось, и какое-то время вся наша жизнь вертелась вокруг этих скандалов. Что, разумеется, ничего не говорит о ней, зато все – о нас. Мы с Линдой оба живем на грани хаоса или с ощущением хаоса, все в любую минуту может рухнуть, и все, что требуется делать, когда живешь с детьми, мы делаем, можно сказать, из-под палки. О том, чтобы заранее что-то распланировать, у нас и речи нет. Необходимость купить к обеду еду сваливается на нас каждый день словно какая-то неожиданность. Необходимость оплачивать в конце месяца счета – тоже. Если бы время от времени мне что-нибудь не приходило на карточку – вроде роялти, отчислений с распродаж книжного клуба, или небольшой денежки за публикацию в учебнике, или, как этой осенью, второй части гонорара за иностранные права, про которые я начисто забыл, то нам пришлось бы туго. Но такая постоянная импровизация усиливает значимость каждого отдельного момента, и поскольку ничто не идет по накатанному, то наша жизнь состоит из сплошных событий. Когда у нас случается светлая полоса, что, конечно, тоже бывает, настоящее кажется нам замечательным, и мы не помним себя от радости. Мы просто ликуем. В детях вообще жизнь бьет ключом, и они стремятся к радости, поэтому, когда в тебе ее в избытке и ты

с ними ласков и весел, любые их капризы и скандалы проходят через пять минут. Больше всего меня мучает совесть за то, что я, хорошо зная — к детям всегда лучше подходить с лаской, на деле ничего не могу с собой поделывать: когда я в гуще событий, меня словно затягивает в трясину слез и отчаяния. А уж стоит мне в этой трясине увязнуть, как любое новое действие приводит только к тому, что я ввинчиваюсь в нее еще на один оборот. Еще досаднее от сознания, что те, с кем я воюю, всего лишь *дети*. Что именно с детьми я не выдерживаю. В таких ситуациях я опускаюсь гораздо ниже того человеческого уровня, которого желал бы для себя. Есть в этом что-то глубоко постыдное. В такие моменты ты бесконечно далек от того человека, каким стремился быть. Пока я не обзавелся детьми, я и не подозревал за собой ничего подобного. Раньше я думал, что достаточно обращаться с ними ласково, и все будет хорошо. Так оно на самом деле и есть, но ничто из прошлого опыта не предупреждало меня о том, каким вторжением в мою жизнь окажется появление детей. Та неслыханная близость, которая возникает у тебя с ними, когда твой собственный темперамент и настроение переплетаются с их темпераментом и настроением настолько тесно, что все твои худшие стороны уже принадлежат не только тебе одному и, вместо того чтобы жить своей потаенной жизнью, как бы обретают внешнюю форму и рикошетом бьют по тебе. Разумеется, то же самое относится и к лучшим сторонам. Ибо за исключением самых трудных периодов, когда

родилась Хейди, а следом Юнн и наша эмоциональная жизнь для всех членов семьи протекала так, что иначе как кризисом это не назовешь, сейчас она проходит в спокойной и стабильной обстановке, и, хотя порой дети доводят меня до бешенства, они все равно мне доверяют и, если что, сразу бегут ко мне. Больше всего они любят, когда мы идем куда-нибудь всей семьей; им не нужно ничего особенного, самые простые вещи – для них уже целое приключение: отправиться на остров Вэстра-Хамнен солнечным днем, сперва прогуляться по парку, где штабель бревен займет их на полчаса, затем пройти мимо парусных яхт в гавани, которые их безумно интересуют, потом перекусить на одном из спусков к морю итальянскими панини, купленными тут же в кафе, – запастись дома какой-нибудь снедью мы, конечно же, не удосужились, а потом часок для игр, смеха и беготни; Ванья с ее характерной неровной пробежкой, которая у нее так и осталась с полутора лет, Хейди, усердно топчущая следом крепенькими ножками, всегда на два метра позади старшей сестры, всегда готовая радостно принять те знаки сестринского внимания, что выпадут на ее долю, а затем – той же дорогой домой. Если Хейди засыпает в коляске, мы садимся с Ваньей за столик в кафе; она обожает редкие минуты, когда остается с нами наедине, и вот она сидит за стаканом лимонада, и болтает, и задает вопросы обо всем на свете – крепко ли держится небо? можно ли остановить наступление осени? есть ли у обезьян скелет? Пускай радость, которую я от этого испы-

тываю, скорее похожа на спокойное удовольствие, но все же
таки это радость. И даже – моментами – пожалуй, и счастье.
Так разве этого мало? Неужели этого мало? Ну да. Будь мо-
ей целью счастье, этого бы хватило. Но счастье я никогда не
ставил себе целью, не это моя цель, на что оно мне? И семья
тоже не цель моей жизни. Уверен, будь это так и посвети я
ей все мое время и все силы, у нас была бы не жизнь, а сказ-
ка. Тогда мы жили бы где-нибудь в Норвегии, зимой ходи-
ли бы на лыжах и катались бы на коньках, захватив с собой
еду и термос, летом плавали бы на лодке, купались, ловили
бы рыбу, ночевали в палатке, ездили бы вместе с другими
семьями, у которых есть дети, отдыхать за границу, в доме
у нас был бы порядок, мы не жалели бы времени на кухню,
готовили бы вкусную еду, общались бы с друзьями и радова-
лись бы своему счастью. Выглядит карикатурно, а между тем
сплошь и рядом можно видеть семьи с детьми, в которых все
налажено именно так. Дети там чистенькие, нарядные, роди-
тели веселы и довольны, а если порой и повышают на детей
голос, то все же не орут на них как сумасшедшие. На выход-
ные они отправляются за город, на лето снимают домик в
Нормандии, и холодильник у них никогда не бывает пустым.
Они работают в банках или в больницах, в IT-фирмах или
местной администрации, в театрах или в университетах. Так
почему же, если я писатель, детские коляски у нас выглядят
так, точно их нашли на свалке? Почему, если я писатель, я
обязательно должен появляться в детском саду с безумными

глазами и застывшей на лице маской отчаяния? Неужели, если я писатель, мои дети непременно должны быть упертыми как бараны, которые ни в чем не уступят, хоть ты тресни? Откуда берется все это безобразие в нашей жизни? Я знаю, что мог бы с ним покончить, знаю, что и мы могли бы стать такой же семьей, но для этого надо, чтобы я так захотел, и в таком случае вся жизнь должна свестись только к этому. А я так не хочу. Для семьи я делаю все, что могу, это мой долг. Про жизнь я понял только одно: надо ее терпеть, не задавая лишних вопросов, а тоску, которая в результате генерируется, использовать как топливо для писательства. Откуда взялось это убеждение, я не знаю и, явственно его сейчас осознав, сам удивляюсь – это же почти извращение! С какой стати ставить долг выше счастья? Вопрос о счастье – банален, чего не скажешь о следующем вопросе – о смысле. При виде прекрасной картины у меня на глаза наворачиваются слезы, а при виде моих детей – нет. Это не значит, что я их не люблю, потому что я ведь люблю их всем сердцем, но видеть в детях смысл жизни... Нет, мне этого мало. Мне скоро сорок, а там, глядишь, стукнет и пятьдесят. В пятьдесят уже недалеко до шестидесяти. Будет шестьдесят, глядишь, скоро семьдесят. А там и всё. Тогда надгробная надпись может выглядеть так: *«Он мужественно жизнь влачил. Вот оттого и опочил»*⁴. Или, скажем, так:

⁴ Здесь и далее стихи в переводе Е. Чевкиной.

Хватался он за все подряд
и дней своих растратил клад.
Когда почуял смертный хлад,
он так промолвил, говорят:
«Прием у вас холодноват!
Соль жизни передай-ка, брат!»

Или, скажем, так:

Здесь лежит большой писатель
и хороший человек,
но в тоске он дни растратил,
жил без радости свой век.
Изо рта, где когда-то жили слова,
растет трава.

Собирайтесь, жуки-червяки!
Вот вам глазки, а вот и кишки!
Вы тут не стесняйтесь,
смелей угощайтесь:
мужчина отбросил коньки!

Но если мне отпущено еще лет тридцать, то я не обязательно останусь таким же, как теперь. Тогда, может быть, что-то в таком роде:

От всех от нас прими, Господь,
ты Карла Уве кость и плоть.
Наконец-то его нет,

он хлеб наш лопал столько лет.
Разогнал друзей ради книг и бухла,
сидел дрочил, но книга не шла,
марал он и правил на каждой странице,
а стиль все равно никуда не годится.
Тут взял он вилку, тут взял он ложку,
потом селедку, потом картошку,
зажарил свинью, сожрал целиком,
и «Хайль!» рыгнул, поперхнувшись куском.
«Я не нацик, но форму ценю
и рунами вам алфавит заменяю».

Книгу вернули, его достало:
жрет и рыгает, и все ему мало.
Выросло брюхо, в брюки не влезть,
глаза безумные, в голосе жечь:
«Я просто хотел рассказать все как есть!»

А жир-то откладывался повсюду
и забил под конец ему все сосуды.
Сердце болит, прямо вертел в груди!
«Ах, доктор, мне сердце пересадить!»
А доктор в ответ сложил ему фигу:

«Я ведь, голубчик, прочел твою книгу.
Все, попалась рыбка на крюк.
Больно тебе? Это смерть, мой друг».

Или, если мне повезет, то что-нибудь не настолько лич-

ное?

Здесь лежит тип, куривший в постели,
и жена его (оба сгорели).

Иными словами, не они перед вами:
так, золы наскребли еле-еле.

Когда моему отцу было как мне сейчас, он бросил свою старую жизнь и начал все заново. Мне было тогда шестнадцать, и я учился в первом классе кафедральной школы в Кристиансанне. В начале учебного года мои родители еще состояли в браке, и если какие-то проблемы у них и возникали, то внешне никак не проявлялись, так что я даже не подозревал, как изменятся их отношения. В то время я жил в Твейте, в двух милях от Кристиансанна, в старом доме на самом краю жилой застройки долины. Он стоял на склоне, за ним начинался лес, а спереди открывался вид на реку. При доме имелся большой амбар и сарай. Тем летом, когда мы туда переехали, – мне тогда было тринадцать – папа с мамой завели кур и продержали их с полгода, потом куры исчезли. Рядом с лужайкой папа посадил картошку, а ниже по склону устроил загородку для компоста, который тогда только-только вошел в обиход. Одной из профессий, о которых отец мечтал вслух, было садоводство, и к этому делу у него действительно имелись определенные таланты: в поселке, где мы жили раньше, сад получился у него просто роскошный, и даже не без экзотики, вроде, например, персика, посаженного с

южной стороны дома и, к гордости отца, давшего плоды, – так что, переезжая в деревню, мы были исполнены оптимизма и надежд на будущее, в котором медленно, но верно все больше проступала ирония, поскольку среди немногих конкретных вещей, что я запомнил об отце в то время, была реплика, брошенная им однажды вечером за столом, когда мы троим – папа, мама и я – сидели в саду и жарили барбекю:

– У нас тут с вами прямо не жизнь, а сплошной праздник?

Ирония была незамысловатая, ее уловил даже я, но в то же время загадочная, потому что я не мог понять ее причины. Для меня такой вечер, конечно, был праздником. То, что подразумевало это ироническое замечание, происходило в то лето подспудно: мы купались в реке ранним утром, играли на тенистых лужайках в футбол, ездили на велосипеде в Хамресанненский кемпинг, купались там и смотрели на девушек, а в июле съездили на Кубок Норвегии, где я впервые в жизни напился. У кого-то из знакомых нашелся приятель с квартирой, у кого-то нашлось кого попросить, чтобы купили нам пива, и вот уже я сижу в чужой гостиной, и внезапно меня охватывает настоящий взрыв радости, ничто уже не пугало, ни о чем не стоило тревожиться, я сижу и хохочу, и вот посреди всего того чужого, что меня окружало, – чужой мебели, чужих девушек, чужой комнаты, чужого сада за окном – я вдруг подумал: вот что мне нравится и чего я хочу! Чтобы все именно так! Хочу просто смеяться и делать то, что мне вздумается. Осталось два снимка, на которых я запечат-

лен этим вечером, на одном я лежу прямо на полу вповалку с другими, в руке – человеческий череп, голова торчит из кучи тел в одну сторону, руки и ноги – в другую, а лицо застыло в пароксизме блаженства. На другом – я один лежу на чьем-то кровати, в одной руке бутылка пива, другой я прижимаю череп к промежности, на носу – черные очки, рот разинут от смеха. Это было лето 1984 года, мне было пятнадцать лет, и я только что сделал открытие: пить – это здорово!

В следующие недели продолжалась обычная детская жизнь: мы валялись на скалах под водопадом и дремали, время от времени окунались в реку, по субботам ездили на автобусе в город за сладостями, заходили в магазин пластинок, и все это время я постоянно предвкушал, как буду учиться в гимназии. В нашей семье это была не единственная перемена – мама временно ушла с работы в школе медицинских сестер и уехала на учебу в Берген, где уже жил Ингве. Предполагалось, что мы с папой останемся вдвоем в деревне, и пару месяцев мы так и жили, пока папа, вероятно, чтобы я ему не мешал, предложил мне пожить в доме на Эльвегатан, принадлежавшем дедушке и бабушке, где у дедушки была бухгалтерская контора. Все мои друзья жили в Твейте, а с новыми одноклассниками я, как мне казалось, был недостаточно знаком, чтобы проводить с ними свободное время, и те дни, когда не надо было ходить на тренировки, которые бывали у меня пять раз в неделю, я проводил один у телевизора, делал уроки за письменным столом в чердачной каморке

или лежал там на кровати, читал и слушал музыку. Время от времени я ездил за чистой одеждой, новыми книжками или пластинками в Саннес, так называлась наша усадьба, иногда оставался там ночевать, но предпочитал студенческое жилье в дедушкином доме. Из нашего как-то ушло тепло; наверное, потому, что в нем перестало что-то происходить; папа обедал где-нибудь в городе и по хозяйству делал только самое необходимое. Это сказывалось на атмосфере дома, и по мере приближения Рождества он казался все более заброшенным. Наверху в гостиной на диване перед телевизором появились сухие кошачьи какашки, на рабочем столе в кухне копилась немытая посуда, отопление, кроме небольшого рефлектора, который отец повсюду таскал за собой, было выключено. Самого его явно что-то мучило. Приехав туда как-то вечером, я отнес сумку в свою выстуженную комнату и столкнулся с ним в коридоре; он зашел из амбара, где нижний этаж был переоборудован под жилье, – волосы всклокоченные, взгляд угрюмый.

– А нельзя протопить? – спросил я. – Тут так холодно.

– Пьётопить? – ответил он. – На фига тут пьётапливать!

Я не выговаривал «р», так и не научился, для меня это стало одной из травм моего взросления. Отец меня часто передразнивал, иногда чтобы указать мне на то, что я неправильно произношу эту букву, в бесплодной попытке заставить меня взять себя в руки и наконец-то начать выговаривать этот звук так, как положено всякому нормальному уро-

женцу Сёрланна, а иногда потому, что его раздражало что-то в моем поведении.

Я молча отвернулся и поднялся к себе. Я не доставил ему удовольствия насладиться зрелищем моих слез. Стыд от того, что я в пятнадцать лет, почти в шестнадцать, чуть было не разнюнился, был сильнее унижения, которое я испытал, глядя, как он меня передразнивает. Я теперь уже не плакал, как раньше, но власть отца надо мной была так сильна, что я был неспособен из-под нее вырваться. Однако показать, как я к этому отношусь, я мог. Я ушел в свою комнату, выхватил с полки несколько кассет и засунул их в сумку, спустился в комнату сбоку от коридора, где стояли шкафы с одеждой, вытащил несколько свитеров, вернулся в коридор, оделся, закинул сумку через плечо и вышел на двор. На улице подморозило, снег прихватило настом, ледяная корка отражала фонари над гаражом. На лужайке перед домом тоже было светло, ночь стояла звездная, и над пустошью за рекой висела полная луна. Я стал спускаться. Снег в автомобильных колеях скрипел под ногами. Дойдя до почтового ящика у дороги, я остановился. Надо было, наверное, сказать, что я ухожу. Но с другой стороны, тогда получится, что я зря старался. Весь смысл моего поступка был в том, чтобы он задумался над своим поведением.

Интересно, который час?

Я оттянул перчатку на левой руке, отвернул рукав куртки и посмотрел на часы. Автобус будет через полчаса. Вполне

успею зайти домой и вернуться.

Впрочем, нет. Еще чего!

Я закинул сумку за спину и продолжил путь вниз по склону. Оглянувшись в последний раз, я увидел, что из трубы поднимается дым. Похоже, он решил, что я лежу в кровати у себя в комнате. И видимо, раскаялся, принес дров и растопил камин.

Лед на реке затрещал. Звук разлетелся волнами по пологим склонам долины.

Затем грохотнуло.

У меня похолодела спина. Этот звук всегда наполнял меня радостью. Я взглянул вверх на скопление звезд. На луну, повисшую над лесистым кряжем. На огни машин за рекой, выхватывающие из тьмы длинные полосы света. На деревья, безмолвно, но не враждебно чернеющие вдоль реки. На два водомерных столба, темнеющие на белом фоне, которые осенью скрывались под водой, а сейчас блестели на открытом пространстве.

Он растопил камин. Так он показал, что раскаялся. Поэтому уходить не простившись уже не имело смысла.

Я повернул назад и пошел к дому. Отпер дверь, начал расшнуровывать ботинки. Из комнаты слышались его шаги, я выпрямился. Он открыл дверь, остановился на пороге и посмотрел на меня, не выпуская дверную ручку.

– Уже уходишь? – спросил он.

Объяснять, что я уже уходил и только что вернулся, было

невозможно, и я только кивнул.

– Подумал, что так лучше, – сказал я. – Завтра рано вставать.

– Да, да, – сказал он. – Завтра во второй половине дня меня дома не будет. Имей это в виду.

– Окей, – сказал я.

Он еще постоял, посмотрел на меня, затем закрыл дверь.

Я снова открыл ее.

– Папа? – окликнул я.

Он обернулся и молча посмотрел на меня.

– Я хотел сказать, что завтра родительское собрание. В шесть.

– Вот как? Надо будет пойти.

Он повернулся ко мне спиной и пошел в комнату, а я закрыл дверь, зашнуровал ботинки, закинул сумку за плечо и снова отправился на автобусную остановку, куда десять минут назад не дошел. Внизу виднелся водопад, застывший арками и ледяными струями, едва озаренный огнями паркетной фабрики. Позади меня, за водопадом, высились горные пустоши, окружая рассеянные по долине, но освещенные дома поселка тьмой и глухим безлюдьем. Звезды над ними словно лежали на дне замерзшего моря.

Прощупывая фарами темноту, подъехал автобус, я предъявил проездной водителю и сел на предпоследнее сиденье слева, на которое садился всегда, если оно было свободно. Машин на дороге было мало, и мы промчались через Суль-

слетту, Рюенслетту, потом вдоль побережья до Хамресанне-на, дальше через лес в сторону Тименеса, свернули на E18 и через мост Вароддбру, миновав гимназию в Гимле, въехали в город.

Дом, где я жил, стоял в самом низу у реки. Слева, как войдешь, располагалась дедушкина контора, справа – жилая часть. Две комнаты, кухня и маленькая ванная. Второй этаж тоже был поделен на две половины, с одной стороны находился большой неотапливаемый чердак, с другой – комната, в ней я и жил. У меня там были кровать, письменный стол, маленький диванчик с журнальным столиком, кассетный магнитофон, подставка для кассет, стопка учебников, несколько газет и музыкальных журнальчиков и груды одежды в шкафу.

Дом был старый. Когда-то он принадлежал папиной бабушке, моей прабабке, которая там и умерла. Как я понимаю, папа был очень близок с нею в детские годы, а подростком проводил тут много времени. Мне она казалась неким мифологическим существом – сильная, самостоятельная, волевая, мать троих сыновей, одним из которых был мой дедушка. На всех фотографиях, которые я видел, на ней неизменно черное закрытое платье. Под конец жизни, которая началась где-то в семидесятых годах девятнадцатого века, она почти на целое десятилетие впала в маразм, или, как говорили в семье, начала «путаться». Больше я о ней ничего не знал.

Я снял ботинки и, поднявшись наверх по крутой, как стре-

мянка, лестнице, зашел в комнату. Там было холодно, и я включил тепловентилятор. Поставил кассету. Группу *Echo and the Bunnymen*. Альбом «*Heaven up Here*». Лег на кровать и взялся за книжку. Это был «Дракула» Брэма Стокера, которым я тогда увлекался. Год назад я уже читал эту книгу, но она и сейчас оставалась для меня такой же захватывающей и поразительной. Город за окном с его монотонным уличным шумом исчез из моего сознания, напоминая о себе лишь изредка и урывками, как если бы я куда-то ехал. Однако я никуда не двигался, а лежал на постели и читал до половины двенадцатого, потом почистил зубы, разделся и лег спать.

Очень странное ощущение, когда просыпаешься утром в полном одиночестве: пустота словно не только вокруг, но и внутри тебя. До поступления в гимназию я всегда просыпался по утрам в доме, где мама и папа уже поднялись и собираются на работу, со всеми сопутствующими этому вещами – запахом сигаретного дыма, питьем кофе, завтраком, звуками радио и шумом прогревающихся в темноте двора автомобильных моторов. Тут все было иначе, и мне это нравилось. Нравилось ходить за километр через старый жилой район до гимназии, отчего всякий раз возникали приятные мысли, что и я кое-что собой представляю. Большинство гимназистов были городские или жили в ближайших окрестностях, и только я да еще несколько приехали из сельской местности, что ставило нас в невыгодное положение. Ведь осталь-

ные уже были знакомы друг с другом и встречались не только в школе, у них уже сложились свои компании. Эти компании сохранялись и в школе, в них не так-то просто было войти, и каждую перемену передо мной вставал вопрос: куда мне себя девать? Можно было, конечно, сходить на перемене в библиотеку и почитать книжку или остаться в классе, делая вид, что повторяешь уроки, но это означало бы показать всем, что я – отверженный, и ничего хорошего в перспективе не сулило, и вот в октябре я начал курить. Не потому, что это мне нравилось, и не потому, что это круто, но потому, что это решало вопрос, куда деваться: с сигаретой можно было спокойно постоять во дворе рядом с другими курильщиками, не вызывая лишних вопросов. После уроков я возвращался в свое жилье, и проблема на время отпадала. Во-первых, потому, что я, как правило, ехал в Твейт на тренировку или чтобы встретиться с Яном Видаром, моим лучшим другом со средней школы, а во-вторых, потому, что меня никто не видел и никто не мог знать, что я все вечера просиживаю один в своей комнате.

Другое дело на уроках. В нашем классе было еще три мальчика и двадцать шесть девочек. И в классе у меня была своя роль, свое определенное место, там я мог разговаривать, участвовать в обсуждениях, выполнять задания, там я что-то собой представлял. Там я был членом группы, как и все остальные, я никому не навязывался, и никто не мог возразить против моего присутствия. Я сидел на последней пар-

те в заднем углу, передо мной сидел Молле, впереди всех в том же ряду сидел Пол, в остальном класс заполняли девочки. Двадцать шесть шестнадцатилетних девчонок. Кто-то из них мне нравился больше других, но ни про одну я не могу сказать, что она нравилась мне настолько, чтобы я в нее влюбился. Была там Моника, из семьи венгерских евреев, с языком как бритва, образованная, в дискуссиях по палестинскому конфликту она всегда с воодушевлением убежденно отстаивала правоту Израиля, чего я никак не мог понять, ведь ясно же, что Израиль – милитаристское государство, а Палестина – жертва. Еще была Ханна, хорошенькая девушка из Вогсбюгда, она пела в хоре, верующая и наивная, однако любому мужчине было приятно на нее смотреть и находиться с ней в одной комнате. Еще была Сив, светловолосая, загорелая и длинноногая, это она в самом начале учебного года высказалась, что район между кафедральной школой и коммерческой школой напоминает американский кампус, и это выделило ее в моих глазах, поскольку показало: она знает о мире, частью которого мне бы хотелось быть, что-то такое, чего не знаю я. Последние годы она провела в Гане, слишком много хвасталась и чересчур громко хохотала. Потом еще Бенедикта, с резкими, в стиле пятидесятых, чертами лица, кудрявыми волосами и с налетом классового превосходства. Потом еще Туне, грациозная в каждом движении, темноволосая и серьезная девушка. Она хорошо рисовала и казалась независимей остальных. Потом еще Анна, девочка с бреке-

тами, с которой я этой осенью во время школьного праздника обжимался в парикмахерском кресле, принадлежавшем матери Бассе, потом еще Хильда, белокурая и румяная девушка с решительным характером, но при этом какая-то сеньская, она часто ко мне обращалась по разным поводам, а еще Ирена, центр всей девчачьей компании, красивая той красотой, которая возникает и пропадает в один и тот же момент, а еще Нина, крепко сбитая и мужеподобная, но в то же время оставлявшая ощущение хрупкости и робости. Еще была Метта, маленькая и вредная интриганка. Была девочка, которая увлекалась Брюсом Спрингстином и носила исключительно джинсу; была еще одна – маленькая смешливая девочка, которая одевалась вызывающе и притом вульгарно и ходила пропахшая табаком; была одна, у которой при улыбке обнажались все десны, в остальном, впрочем, даже хорошенькая, но ее смех, это подхихикивание после каждого слова и чушь, которую она несла, плюс легкая шепелявость как бы заслоняли ее красоту или даже сводили ее на нет. Меня окружало море девушек, река тел, океан грудей и бедер, и то, что я видел все это только в официальной обстановке, за партами, только добавляло ощущению остроты. В известной мере оно наполняло мои дни смыслом, я предвкушал, как войду в класс, где имею полное право сидеть в окружении всех этих девушек.

В это утро я сначала зашел в столовую, купил булочку и колу, сел за парту и стал завтракать, одновременно листая

книгу, между тем как класс постепенно заполнился учениками с вялыми спросонок движениями и мимикой. Я перекинулся парой слов с Молле. Он жил в Хамресаннене, в средней школе мы с ним учились в одном классе. Затем вошел учитель. Это был Берг, одетый в рабочую блузу, он вел у нас норвежский. Наряду с историей это был мой любимый предмет, я болтался между пятью и пятью с половиной баллами⁵ и выше не поднимался, но решил преодолеть этот рубеж на экзамене. Слабее всего я был в естественных науках, по математике временами сползал даже на двойку; уроков я не учил, а потому то, что мы проходили в школе, было гораздо выше моего понимания. Наши естественники и математик были учителями старой школы. Математику у нас вел Вестбю, он страдал нервным тиком, правая рука у него все время дергалась и выкручивалась. На его уроках я сидел, закинув ноги на стол, и болтал с Бассе, покуда налившийся краской Вестбю, обратив ко мне плотное, мясистое лицо, не выкрикивал мою фамилию. Тогда я снимал ноги с парты, но стоило ему отвернуться, как я продолжал болтать. Нашему естественнику Нюгору, маленькому, тощему, скрюченному человечку с сатанинской улыбкой и ребяческими жестами, оставалась пара лет до пенсии. У него тоже был нервный тик, он все время подмигивал одним глазом, дергал плечом, скидывал голову, так что выглядел пародией на несчастно-

⁵ В норвежской старшей школе и гимназии используется десятибалльная шкала оценок, где десять – это наивысший балл.

го замученного учителя. В летние месяцы он ходил в светлом костюме, зимой – в темном. Однажды я видел, как он упражняется с циркулем, словно с ружьем: мы писали контрольную, а он, глядя в пространство над нашими головами, сдвинул ножки циркуля, приставил к плечу, потом рывком перевел в одну сторону, затем в другую, зловеще улыбаясь. Я не верил своим глазам: что он, с ума сошел? На его уроках я тоже разговаривал, причем столько, что стал у него козлом отпущения, кто бы ни болтал на самом деле. Стоило ему услышать чей-нибудь голос, он сразу: «Кнауэстор!» – и поднимает ладонь, это означало, что я должен встать и стоять возле парты до конца урока. Я делал это с готовностью, во мне тогда уже зарождался бунтарский дух, хотелось пуститься во все тяжкие: прогуливать уроки, выпивать, задирааться. Я был анархистом, атеистом, и с каждым днем во мне крепли антибуржуазные настроения. Я подумывал о том, чтобы проколоть себе уши, обриться наголо. Естествознание – на что оно мне сдалось? Математика – на что она мне? Я хотел играть в рок-группе, хотел свободы, жить как сам пожелаю, а не как положено.

Но в этих мечтах я был одинок, никто меня не поддерживал, так что, оставаясь до поры нереализованными, они принадлежали будущему и потому, как всякое будущее, не облекались в определенную форму. Не учить уроки, не слушать в классе учителя было из той же оперы. Раньше я по всем предметам был одним из лучших и любил, чтобы это заме-

чали другие, но теперь – нет, теперь хорошие оценки стали чем-то почти постыдным, они означали, что ты сидишь дома и корпишь над уроками, что ты зубрилка и лузер. Иное дело – норвежский, этот предмет в моем представлении был связан с писательством и богемной жизнью, к тому же тут зубрежкой не возьмешь, тут нужно другое – чутье, свой почерк, индивидуальность.

На уроках я бездельничал, на переменах выходил курить на крыльцо, наблюдая, как постепенно светлеет небо и перед глазами все яснее проступает окружающий пейзаж, и так до половины третьего, когда звенел последний звонок и я отправлялся назад, в свою каморку. Было пятое декабря, завтра мне исполнялось шестнадцать, из Бергена собиралась приехать мама, и я радовался предстоящей встрече. Жить вдвоем с папой было тоже неплохо, в том смысле, что он почти не появлялся на глаза – проводил время в Саннесе, когда я был в городе, и наоборот. С маминим приездом этому придет конец, вплоть до Нового года решено было жить вместе в деревне, а неприятная необходимость каждый день встречаться с папой с лихвой искупалась присутствием мамы. С мамой я мог разговаривать. С ней я мог говорить о чем угодно. Папе я ничего не мог рассказать. Совсем ничего, кроме сугубо конкретных вещей типа куда я собрался и когда вернусь домой.

Подходя к дому, я увидел перед ним папин автомобиль. Я вошел, на весь коридор несло чадом, на кухне гремела по-

суда и работало радио.

Я заглянул в дверь.

– Здорово, – сказал я.

– Здорово, – ответил он. – Проголодался?

– Еще как! Что ты жаришь?

– Отбивные. Садись, они уже готовы.

Я зашел и сел за круглый обеденный стол. Стол был старый. Наверное, остался еще от его бабушки.

Папа положил мне на тарелку две отбивные, три картофелины и горку жареного лука. Сел напротив. Положил и себе.

– Ну как? – спросил он. – Что новенького в школе?

Я помотал головой.

– Так-таки ничего нового не учили?

– Не-а.

– Надо же.

Мы молча принялись за еду.

Я не хотел обижать его, не хотел, чтобы он думал, что потерпел неудачу, что у него не складываются отношения с сыном, поэтому старался придумать, что бы такое ему сказать. Но так ничего и не придумал.

У него было не то чтобы плохое настроение. Он не сердился. Просто его мысли были где-то далеко.

– А ты был недавно у бабушки с дедушкой? – спросил я.

– Ну да, – сказал он. – Как раз вчера после работы. А почему ты спрашиваешь?

– Да так, – сказал я, чувствуя, что покрываюсь краской. –

Просто спросил.

Я уже обрезал ножом все мясо, какое было, и стал обглаживать кость. Папа сделал то же самое. Я отложил кость и выпил всю воду, какая была в стакане.

– Спасибо, – сказал я, вставая из-за стола.

– Родительское собрание начинается в шесть? – спросил он.

– Да, – подтвердил я.

– Ты побудешь тут?

– Да.

– Тогда я заеду за тобой, и мы вместе поедem в Саннес. Годится?

– Да.

Я сидел за столом и писал эссе про рекламу одного спортивного напитка, когда отец вернулся. Распахнулась входная дверь, шум города стал громче, в коридоре послышались папины шаги. Его голос:

– Карл Уве! Ты собрался? Давай, поехали!

К его приходу я уже уложил вещи в сумку и рюкзак, и то и другое было набито битком, потому что весь следующий месяц предстояло жить в деревне, и я точно не знал, что мне там может понадобиться.

Он глядел на меня, пока я спускался по лестнице. Покачал головой. Но не сердито. Тут было что-то другое.

– Ну как? – спросил я, не глядя ему в глаза, хотя он этого

терпеть не мог.

– Как? А вот так! Меня отчитал твой учитель математики. Вот как! Вестбю, что ли?

– Да.

– Почему ты мне об этом ничего не говорил? Я даже не знал. Для меня это стало полной неожиданностью.

– Ну а что он сказал? – спросил я и начал одеваться, бесконечно обрадованный, что папа не выходит из себя.

– Сказал, что ты кладешь ноги на парту, что ведешь себя нагло и вызывающе, что болтаешь во время урока, ничего не делаешь и не выполняешь домашние задания. И если так будет продолжаться, он тебя выгонит. Вот что он сказал. Это правда?

– Да, в каком-то смысле правда, – сказал я, выпрямляясь, уже вполне одетый.

– Между прочим, он во всем обвинял меня! Он ругал меня за то, что я вырастил такого лоботряса.

Я невольно поежился.

– А что ты сказал?

– Я выдал ему по первое число. Твое поведение в школе – на его ответственности, это не моя забота. Но все равно приятного было мало. Сам понимаешь.

– Да, понимаю, – ответил я. – Извини.

– Да что толку? Все, это было последнее родительское собрание, куда я ходил. Вот так. Ну что, идем?

Мы вышли на улицу, направляясь к машине. Отец сел за

руль, наклонился в мою сторону, распахнул дверь.

– А багажник не откроешь? – попросил я.

Он не ответил, но открыл. Я сложил рюкзак и сумку в багажник, аккуратно закрыл его, чтобы не злить отца, сел на переднее сиденье, перекинул через грудь ремень безопасности, защелкнул застёжку.

– Срамota, да и только, – сказал папа, запуская мотор. Засветилась приборная доска, из темноты проступила машина впереди нас и часть дороги, спускающейся к реке. – А каков он вообще-то как учитель, этот Вестбю?

– Вообще никудышный. У него вечные проблемы с дисциплиной. Никто его ни во что не ставит. И объяснять он тоже не умеет.

– Он один из лучших выпускников университета. Ты это знал? – спросил папа.

– Нет.

Он сдал несколько метров назад, вырулил на дорогу, развернулся и направился к выезду из города. Обогреватель гудел, шипованные покрышки мерно жужжали по асфальту. Отец, как всегда, гнал на большой скорости. Одна рука на баранке, другая на сиденье возле рычага переключения передач. Внутри у меня все дрожало, словно сквозь тело пробежали искры радости, ведь раньше такого никогда не бывало. Он никогда меня не защищал. Он никогда не упускал случая сделать критическое замечание, если его что-то не устраивало в моем поведении. Перед летними и рождественскими

каникулами, когда предстояло предъявить отцу табель с отметками, я за недели начинал переживать. От какого-нибудь мелкого недостатка в моем поведении он приходил в ярость. То же самое и с родительскими собраниями. Стоило ему там услышать малейшее критическое замечание в мой адрес, например, что я много болтаю или не слежу за своими вещами, и он приходил домой, кипя от гнева. О тех редких случаях, когда я приносил домой записку, что родителей вызывают в школу, и говорить нечего. Это вообще был кошмар и конец света.

Неужели он обращается со мной иначе потому, что я повзрослел?

Неужели мы теперь будем на равных?

Мне хотелось повернуться к нему и посмотреть, как он сидит за рулем, уставив взгляд на дорогу. Но я не мог. Для этого надо было что-то ему сказать, а сказать мне было нечего.

Полчаса спустя мы уже поднялись на последнюю горку и въехали во двор перед домом. Не заглушая мотора, папа вышел, чтобы открыть гараж. Я пошел отпирать дверь дома. Вспомнил про вещи в багажнике и вернулся, когда папа выключил мотор и красные лампочки габаритных огней погасли.

– Откроешь багажник? – спросил я.

Он кивнул, вставил ключ и повернул. Дверца откинулась

вверх, как хвост кита, увиделось мне вдруг. Войдя в дом, я сразу заметил, что он делал уборку. Внутри пахло зеленым мылом, в комнатах было прибрано, полы блестели. С дивана исчезли кошачьи какашки.

Все это он проделал, конечно, лишь ради мамы. Но все равно, пусть он поступил так не по собственному побуждению, из-за того, что тут все заросло грязью так, что уже противно смотреть, а по конкретному поводу, я все же почувствовал облегчение. Все-таки восстановлен хоть какой-то порядок. В последнее время мне не то чтобы стало тревожно на душе, но какое-то беспокойство я все-таки ощущал, потому что изменения происходили не только в доме. В ту осень в нем самом что-то поменялось. Вероятно, оттого, что мы остались с ним вдвоем, — он да я, да и то почти не общались. Друзей у него никогда не водилось, в гости к нам никто не ходил, кроме родственников. Из знакомых у него были только коллеги по работе да соседи. Точнее сказать, так было, пока мы жили на Трумёйе, здесь же он не знал даже соседей. Но всего через пару недель после того, как мама уехала на учебу в Берген, он созвал в Саннесе гостей из числа сослуживцев, чтобы устроить дома вечеринку, и спросил меня, не могу ли я на этот вечер уехать в город. Если мне станет одиноко, я всегда могу зайти к бабушке с бабушкой. Менее всего я боялся одиночества, а среди дня он заглянул ко мне и принес пакет еды: покупную пиццу, колу и готовое картофельное пюре, которые я съел, сидя перед телевизором.

Наутро я сел в автобус и поехал к Яну Видару, пробыл у него пару часов, а затем отправился на автобусе к нам домой. Дверь была заперта. Я открыл гараж, чтобы посмотреть, ушел он просто пройтись или уехал куда-то на машине. Там было пусто. Я вернулся к дому и отпер ключом дверь. На столе в гостиной стояли несколько винных бутылок и полные пепельницы, но особого беспорядка заметно не было, и я подумал, что они повеселились довольно скромно. Стереонастройка обыкновенно стояла в амбаре, но сейчас она была тут, на столике у камина, и я присел на корточки перед горкой пластинок, которые частью стояли рядком, прислоненные к ножке стула, частью лежали рядом на полу. Пластинки были те, которые он ставил всегда, сколько я себя помнил. «Пинк Флойд», Джо Дассен, Арья Сайонмаа, Джонни Кэш, Элвис Пресли, Бах, Вивальди. Последние две он, наверное, ставил до гостей или сегодня с утра. Но и остальные не очень-то подходили для вечеринки. Я встал и отправился на кухню, в мойке там лежало несколько грязных тарелок и бокалов. Я открыл холодильник. Не считая пары бутылок белого вина и пива, в нем было пусто. Я поднялся на второй этаж и увидел, что дверь в папину спальню открыта. Я подошел и заглянул внутрь. Кровать из маминой спальни оказалась переставлена сюда, рядом с папиной, на середину спальни. Значит, вечеринка продолжалась допоздна, и так как они выпили, а брать такси до города или до поселка Веннеса, где работал папа, было слишком дорогое удовольствие, то кто-то остался но-

чевать. Моя комната стояла нетронутая, я забрал там то, что нужно, и отправился в город, хотя сначала собирался тут переночевать. Но все в доме было какое-то чужое.

Другой раз я приехал туда без предупреждения, был уже вечер, мне не захотелось тащиться после тренировки в город, и Том подбросил меня на машине до дома. В освещенном кухонном окне я увидел папу, он сидел за столом, подперев голову рукой, перед ним стояла бутылка вина. Это тоже было что-то новенькое, раньше он никогда не пил, во всяком случае, при мне и уж тем более в одиночку. И вот теперь я это видел, но не желал этого знать, однако отступить было поздно, так что я нарочно громко потопал на крыльце, сбивая снег с подошв, и, чтобы у него не осталось никаких сомнений в том, куда я направился, я отвернул в ванной оба крана и несколько минут посидел на крышке унитаза. Когда я вошел в кухню, там уже никого не было. Вымытый бокал стоял на рабочем столе, пустая бутылка – в шкафчике под раковиной, а папа ушел в амбар. И в довершение всех странностей однажды я увидел, как он посреди рабочего дня проехал мимо магазина в Сульслетте. Я как раз прогуливал три последних урока и махнул из школы к Яну Видару, чтобы пересидеть у него остающееся до вечерней тренировки время; я курил на скамейке перед магазином, как вдруг мимо проехала папина грязно-зеленая «аскона», не узнать ее было невозможно. Я выбросил сигарету, но не счел нужным прятаться; глядя на проезжающий автомобиль, я поднял руку и помахал. Но он

меня не заметил, рядом на пассажирском сиденье сидел кто-то, с кем он разговаривал. На другой день он заглянул в мое студенческое жилье, и я упомянул, что видел его. Он сказал, что это была сослуживица, с которой они вместе занимаются одним проектом и вчера поработали несколько часов после уроков у нас дома.

Все это время папа вообще непривычно много общался с сослуживцами. Один раз на каникулах он ездил с коллегами на семинар в Ховден и часто ходил в гости, чего раньше за ним не водилось. Наверное, потому, что скучал и ему надоело быть все время одному. Я этому только радовался; в то время я стал смотреть на него другими глазами – не как ребенок, а как почти уже взрослый человек, и мне нравилось, что он общается с друзьями и коллегами, как принято у людей. Но в то же время мне не нравились эти изменения, потому что они делали его непредсказуемым.

То, что он встал на мою защиту на родительском собрании, вполне укладывалось в общую картину. Пожалуй, явственной всего остального.

Я вынул вещи из сумки и сложил их в шкаф, аккуратно убрал кассеты в подставку на письменном столе, сложил стопкой учебники. Дом был построен в середине девятнадцатого века, поэтому полы везде скрипели, звук проникал сквозь стены, и я знал не только что папа находится в гостиной прямо подо мной, но даже что он сидит на диване. Я собирался дочитывать «Дракулу», но почувствовал, что не мо-

гу, не прояснив сначала ситуацию между нами. Итак, он знает, что я буду делать, а я знаю, что будет делать он. Но нельзя же было вот так просто пойти и сказать: «Привет, папа. Я у себя наверху сижу и читаю книжку». – «Зачем ты мне это говоришь?» – спросит, а если не спросит, то подумает папа. Но возникшую ситуацию надо было как-то утрясти, поэтому я спустился вниз, заглянул на кухню – поесть, что ли? – и уже оттуда вошел в гостиную, где он сидел на диване с моими старыми комиксами.

– Ты не будешь ужинать? – спросил я.

Он коротко взглянул на меня:

– Возьми себе там сам что-нибудь, если хочешь.

– Окей, – сказал я. – Я буду потом у себя в комнате.

Он ничего не ответил и продолжал читать под торшером «Агента Х9».

Я отрезал большой кусок колбасы и съел ее за письменным столом. А он ведь, кажется, не купил мне подарок ко дню рождения, подумал я вдруг. Должно быть, его привезет с собой мама из Бергена. Но торт-то он должен был купить? Хоть об этом-то он подумал?

На следующий день, когда я приехал из школы, мама уже была дома. Папа встретил ее в аэропорту. Когда я пришел, они сидели за кухонным столом, в духовке стояло жаркое, мы поужинали при свечах, я получил в подарок чек на пятьсот крон и рубашку, которую мама купила в Бергене. Я по-

жалел маму и не стал отказываться, все-таки мама ходила по магазинам и искала, чем бы меня порадовать, нашла эту рубашку, которая ей понравилась, и решила, что она придется мне по вкусу.

Я надел ее, и мы сели в гостиной пить кофе с тортом. Мама была радостная, она несколько раз повторила, как хорошо снова быть дома. Позвонил Ингве и поздравил меня; между прочим, сказал, что приедет, вероятно, не раньше сочельника, тогда и вручит мне подарок. Я отправился на тренировку, а когда вернулся, родители были в амбаре.

Я очень хотел поговорить с мамой наедине, но понял, что, судя по всему, это вряд ли получится, и, подождав еще часок, пошел наверх спать. На другой день в школе был зачет, последние две недели они шли один за другим, я освобождался рано, отправлялся в город, чтобы походить по магазинам пластинок или посидеть где-нибудь в кафе, иногда на пару с Бассе, иногда с кем-нибудь из девочек моего класса, но только если так получалось само, чтобы не подумали, будто я навязываюсь. Но с Бассе это всегда было окей, мы стали часто проводить время вместе, один раз я провел у него целый вечер, мы просто слушали пластинки в его комнате, но я был прямо-таки счастлив, ведь у меня появился новый товарищ. Не деревенщина, не какой-то там заядлый фанат метал-рока, а поклонник *Talk Talk* и *U2*, *Waterboys* и *Talking Heads*. Бассе, или Рейд, как его на самом деле звали, был смуглый брюнет, на девушек он производил неотразимое впечатле-

ние, но, кажется, ему это не ударило в голову, потому что в его поведении не было никакой рисовки, ни капли самодовольства, он никогда не занимал того места, которое мог бы занять, однако не от скромности; скорее его удерживали от этого присущая ему задумчивость и погруженность в себя. Он никогда не раскрывался до конца. Не знаю, потому ли, что не хотел, или потому, что не мог. Впрочем, часто это две стороны одной медали. Но самое удивительное для меня в нем было то, что он обо всем имел собственное мнение. Если я рассуждал скорее оставаясь в пределах заданного поля, например политического, где из одного автоматически следует другое, или руководствуясь своим вкусом, то есть если мне нравилась какая-то музыкальная группа, то нравились и похожие на нее, либо в плане чисто человеческого, где я зачастую не мог освободиться от существующих мнений и оценок, то он, напротив, всегда мыслил самостоятельно, исходя из собственных, более или менее индивидуальных идиосинкратических воззрений. Но своими мыслями он не делился с кем попало; сначала еще надо было заслужить, чтобы он их тебе высказал, а для этого требовалось время. Иными словами, это была не его манера, а его натура. И гордость, что я могу назвать Бассе своим другом, объяснялась не только его многочисленными достоинствами и самим фактом дружбы, но не в последнюю очередь еще и тем, что, как мне казалось, его популярность повлияет и на мою. Не то чтобы это была сознательная установка, но, оглядываясь назад, я понимаю,

что это очевидно: если тебя не пускают в какой-то круг, то нужен кто-то, кто бы тебя в него ввел, по крайней мере, так обстоит дело, когда тебе шестнадцать. В данном случае моя изоляция была не метафорической, а буквальной и конкретной. Меня окружали сотни парней и девушек моего возраста, но я не мог влиться в среду, к которой они принадлежали. Каждый понедельник я боялся услышать вопрос: «Как ты провел выходные?» Один раз можно ответить: «Сидел дома и смотрел телевизор», в другой еще можно было сказать: «Слушал пластинки у приятеля», но дальше следовало рассказать что-то поинтереснее, чтобы не остаться за бортом. Некоторых списывали со счетов в первый же день, раз и навсегда, но я ни за что на свете не хотел оказаться за бортом, я хотел быть одним из тех, кто находится в центре событий, хотел, чтобы меня приглашали на вечеринки, хотел гулять с другими ребятами по городу, жить их жизнью.

Главным испытанием, самым большим праздником в году, была встреча Нового года. В последние недели все только об этом и говорили. Бассе собирался поехать к знакомым в Юствик, но увязаться за ним не было никакой возможности; и вот занятия в гимназии кончились и начались новогодние каникулы, а меня так никто никуда и не пригласил. Остался только Ян Видар, который жил под горой в Сульслетте, в четырех километрах от нас. Осенью он поступил в ремесленную школу и учился на кондитера, и вот мы с ним за два дня до Нового года сидели и рассуждали, куда бы пойти. Нам

хотелось попасть на вечеринку и как следует напиться. Что касается второго пункта, то с ним вроде проблем не предвиделось: я играл в команде юниоров, и наш вратарь Том был парень что надо, уж он-то не откажется купить нам пива. А вот с вечеринкой... Было по соседству несколько девятиклассников отмороженного, полууголовного пошиба, которые наверняка соберутся компанией, но нам она точно не годилась, лучше уж сидеть дома. Еще одну компанию, из Хамресаннена, мы хорошо знали, с некоторыми из этих парней мы вместе учились, а с другими играли в футбол, и, хотя нас никто не приглашал, к ней вполне можно было как-нибудь примазаться, но для меня она ценности не представляла. Они жили в Твейте, учились в ремесленной школе, некоторые уже работали, и у тех, кто уже обзавелся машиной, сиденье было обтянуто мехом, а на зеркале болтался «вундербаум». Впрочем, других вариантов не было. На встречу Нового года без приглашения не придешь. С другой стороны, к двенадцати ночи все высыпают на перекресток пускать ракеты и орать «ура». В этом можно поучаствовать и без приглашения. Многие ребята из нашей гимназии собирались, как мне было известно, встречать Новый год в округе Сём. Что, если нам отправиться туда? И тут Ян Видар вспомнил, что барабанщик из нашей группы, которого мы приняли туда за неимением лучшего, восьмиклассник из Хонеса, как-то сказал, что будет встречать Новый год в Сёме.

Два телефонных звонка, и вопрос решился. Пиво нам ку-

пит Том, и мы будем проводить вечер с восьмиклассниками и девятиклассниками, посидим у них в подвальной комнате до полуночи, а затем пойдем на перекресток, где собирается народ, найдем кого-нибудь из знакомых по гимназии и примажемся к его компании на остаток вечера. План был хорош. Вернувшись к вечеру домой, я, как бы между прочим, сообщил маме и папе, что меня пригласили на Новый год, ребята из нашего класса собираются в Сёме, можно мне тоже пойти? Дома ждали гостей, должны были приехать папины родители и папин брат Гуннар с семьей, но папа и мама возражать не стали.

– Здорово! – сказала мама.

– Ладно, иди, – сказал папа, – но чтобы к часу был дома.

– Но это же Новый год, – сказал я. – Может, все-таки в два?

– Ладно. Но только чтобы уж в два так в два, а не в полтретьего. Запомнил?

Накануне Нового года мы с утра поехали на велосипедах в Рюенслетту к магазину, где нас уже ждал Том, мы отдали ему деньги и получили взамен два пакета с десятью бутылками пива в каждом. Пакеты Ян Видар спрятал у себя в саду, а я уехал домой. Мама с папой наводили порядок к приходу гостей, уборка была в самом разгаре. На улице поднялся ветер. Я постоял у окна в своей комнате, глядя на клубы метели, на серое небо, словно осевшее на черные деревья леса. Потом поставил пластинку, взял недочитанную книжку и улегся на

кровать. Немного спустя ко мне постучалась мама.

– Тебя к телефону. Ян Видар, – сказала она.

Телефон был внизу, в гардеробной. Я спустился, закрыл дверь и взял трубку.

– Ну, что там у тебя? – спросил я.

– Беда, – сказал Ян Видар. – Сволочь Лейф Рейдар...

Лейф Рейдар был его брат двадцати с чем-то лет, он ездил на тюнингованной «опель-асконе» и работал на паркетной фабрике фирмы «Боем». Вся его жизнь была обращена не на юго-запад, в сторону Кристиансанна, как у меня и большинства из нас, а на северо-восток, на Биркеланн и Лиллесанн, из-за чего, наряду с разницей в возрасте, я не мог толком разобраться в нем, что он за человек и что у него на уме. Он носил усы и часто ходил в очках-«авиаторах», но не то чтобы был обычным пижоном – некая корректность в его одежде и манере держаться говорила совсем о другом.

– И что он?

– Он нашел в саду пакеты с пивом. Нет чтобы пройти мимо! Казалось бы, на хрена ему это. Урод. Шкура лицемерная. Наорал на меня, представляешь? Уж кто бы говорил: тебе, мол, еще только шестнадцать, ну и так далее... А потом пристал с ножом к горлу, кто покупал пиво. Я, само собой, не сказал. Какое его собачье дело! А он говорит, если я не скажу, он все отцу доложит. Святоша нашелся! Такой... Да на хрен пришлось, короче, сказать. И знаешь, что он тогда сделал? Что придумал этот мудака?

– Нет, – сказал я.

Порывы ветра вздымали над амбаром снежную пыль. В сгущающихся сумерках тихо, почти таинственно, мерцал льющийся из нижних окон свет. Вдруг в нем что-то мелькнуло. Наверное, это папа, подумал я, и действительно, в следующий миг в окне показалось его лицо, он глядел прямо на меня. Я отвел глаза и отвернулся в сторону.

– Он запихал меня в машину и повез к Тому вместе с пакетами.

– Да ты что?

– Говнюк поганый! И наслаждался, гад. Какой он молодец. Это он-то! Я прямо охренел от такого, твою мать!

– А дальше? – спросил я.

Я бросил взгляд на окно, но лицо уже исчезло.

– А что дальше? Сам понимаешь. Он наорал на Тома. Затем велел мне отдать пиво Тому. Я отдал. А Тому велел, чтобы отдал мне деньги. Точно сопливному малолетке! Как будто он сам такого не делал в свои шестнадцать! Твою же мать! Как же он упивался, какой он молодец, упивался, когда вез меня туда, когда орал на Тома.

– И что теперь делать? Идти без пива? Не годится.

– Нет. Я мигнул Тому, когда мы уходили. Он меня понял. Потом я позвонил ему из дома и извинился. Он сказал – ладно. Мы решили, что он поедет к тебе один. Но подберет меня по дороге, так что я смогу вернуть ему деньги.

– Вы что – едете сюда?

– Да, он будет через десять минут. Так что через пятнадцать минут будем у тебя.

– Дай мне подумать.

Только тут я заметил лежащего на стуле возле телефонного столика кота. Он глянул на меня и принялся вылизывать лапку. За дверью в гостиной заработал пылесос. Кот обернулся на звук. В следующий миг он уже успокоился. Я наклонился и почесал ему шейку.

– Не вздумайте подъезжать к дому, ни в коем случае. А пакеты можно оставить где-нибудь на обочине. Там их все равно никто не найдет.

– Может, под холмом?

– С той стороны, где наш дом?

– Да.

– Под холмом, где стоит наш дом, через пятнадцать минут?

– Да.

– Ладно. И скажи Тому, чтобы он возле нас не разворачивался, и внизу, возле почтовых ящиков, тоже не надо. Немного дальше за нами есть карман. Лучше бы там, хорошо?

– Хорошо. До скорого.

Я положил трубку и зашел к маме в гостиную. Она разбирала пылесос и оглянулась на меня, когда я вошел.

– Я хочу забежать к Перу, – сказал я. – Поздравить его с Новым годом.

– Беги, – сказала мама. – И поздравь от нас его родителей, если их увидишь.

Пер был младше меня на год и жил по соседству, в паре сотен метров ниже по склону. Пока мы тут жили, я чаще всего проводил время с ним. Мы играли в футбол когда только могли: и после школы, и по выходным, и во время каникул, но для серьезной игры важно было собрать побольше народа; если это не удавалось, мы могли часами играть двое на двое, а если не получалось, то мы играли одни – я и Пер. Я бил по его воротам, он – по моим, я подавал мяч ему, он – мне, или играли на пару, как мы это называли. Мы продолжали это изо дня в день, даже после того, как я поступил в гимназию. Еще мы купались либо под водопадом, в глубоком месте, куда можно было прыгать со скалы, либо внизу у порогов, где стремительный поток сбивал нас с ног. В плохую погоду, когда на улице нечего было делать, мы смотрели у него видео в подвальной комнате или просто болтали, забравшись в гараж. Мне нравилось там бывать, семья у них была дружная и сердечная, и, хотя отец Пера меня недолюбливал, меня там все равно принимали. Но хоть я и проводил с Пером большую часть времени, я не считал его за друга и не упоминал о нем в какой-либо другой связи: он был, во-первых, младше меня, уже ничего хорошего, а во-вторых, деревня деревней. Он не интересовался музыкой и не имел о ней никакого понятия, не интересовали его ни девушки, ни выпивка, и он преспокойно проводил выходные дома с родителями. Он

мог запросто появиться в школе в резиновых сапогах, ходил в вязаных свитерах и вельветовых брюках, джинсах и майке, из которых давно вырос, с надписью «Кристиансаннский зоопарк». К тому времени, как я сюда переехал, он еще ни разу не съездил в город один. Книг, кажется, вообще не читал, в основном довольствуясь комиксами, которыми, впрочем, я и сам не брезговал наряду с нескончаемой чередой книжек Маклина, Бэгли, Смита, Ле Карре и Фоллета, их я тогда глотал одну за другой и в конце концов приохотил и его. По субботам мы вместе ходили в библиотеку, а каждое второе воскресенье – на домашние матчи «Старта», два раза в неделю – на футбольные тренировки, в летнее время мы раз в неделю устраивали матчи и каждый день вместе шли к школьному автобусу. Приехав из школы, вместе возвращались домой. Но в автобусе никогда не садились рядом: по мере приближения к школе и всему тому, что она подразумевает, дружба с Пером сходилась на нет, так что на школьном дворе мы не общались вовсе. Самое удивительное, что он как будто не обращал на это внимания. Пер всегда был весел, всегда открыт; с чувством юмора и сердечный, как и вся его семья. После Рождества я пару раз ходил к нему, мы смотрели видео и катались на лыжах на склонах позади нашего дома. Позвать его встречать Новый год мне и в голову не приходило, это было за пределами возможного. Ян Видар не относился к Перу никак. Разумеется, они знали друг друга, как и все, кто тут жил, но они никогда не проводили вре-

мя вдвоем и не видели в этом никакого смысла. Когда я переехал сюда, Ян Видар дружил с Хьетилем, его ровесником из Хьевика, они были закадычные друзья и все время ходили друг к другу в гости. Отец Хьетиля был военным, и, как я понимаю, им все время приходилось переезжать с места на место. Когда Ян Видар подружился со мной, в основном на почве общих музыкальных интересов, Хьетиль пытался переманить его обратно, все время названивал ему по телефону и звал к себе, а когда мы сталкивались в школе втроем, отпускал принятые в их компании и непонятные для меня шуточки. Увидев, что ничего не помогает, он понизил планку и позвал к себе нас обоих. Мы покатались на велосипеде по аэродрому, посидели в аэропортовском кафе, поехали в Хамресаннен и позвонили одной из девочек, Рите, к которой они с Яном Видаром оба были равнодушны. У Хьетиля была с собой шоколадка, и, когда мы поднялись на холм, он поделился ею с Яном Видаром, а мне не предложил, но и это ничего не изменило, потому что Ян Видар как ни в чем не бывало разломил свою половину пополам и протянул кусочек мне. Тогда Хьетиль отстал от него и стал искать других друзей, но, пока мы учились в средней школе, он так ни с кем и не сдружился настолько же тесно, как с Яном Видаром. Хьетиль был из тех, кто всем нравится, особенно девушкам, но дружить с ним по-настоящему никого не тянуло. Рита, вообще-то бесцеремонная и жесткая, питала к нему некоторую слабость, они все время смеялись и разговаривали особен-

ным тоном, но дальше дружбы дело не шло. Для меня Рита всегда приберегала самую едкую иронию, так что в ее присутствии я постоянно был настороже. Она была маленькая и тощенькая, с узким личиком, маленьким ротиком, но черты у нее были правильные, а в глазах, часто насмешливых, горел такой огонь, что казалось, они светятся. Рита была красива, но красавицей ее не считали, а вела она себя настолько резко, что такое признание ей вряд ли грозило и в будущем.

Однажды вечером она мне позвонила:

– Привет, Карл Уве. Это Рита.

– Рита? – удивился я.

– Да, придурок. Рита-Лолита.

– Ааа.

– У меня к тебе вопрос, – сказала Рита.

– Да?

– Хочешь со мной встречаться?

– Что?

– Еще раз: хочешь со мной встречаться? Это простой вопрос. Да или нет?

– Я... я не знаю, – сказал я.

– Да ладно! Не хочешь, так и скажи.

– Ну, я не думаю...

– Ну и все. До завтра, пока. Увидимся в школе. Всего хорошего.

И она повесила трубку. На следующий день она вела себя как обычно, и я тоже вел себя как обычно, разве что она чуть

больше обычного старалась меня задеть при любой возможности. Она никогда этого не упоминала, я тоже не упоминал даже в разговорах с Яном Видаром и Хьетилем – не хотелось перед ними хвастаться.

Я сказал маме «пока», она снова включила пылесос, и я, одевшись в прихожей, вышел из дома и, согнувшись, зашагал против ветра. Папа открыл одну гаражную дверь и сейчас выводил на улицу снегоочиститель. Гравий в гараже был сухой и совершенно бесснежный, отчего мне всегда делалось немного не по себе, ведь гравий – нечто, принадлежащее миру снаружи, а снаружи все покрыл снег, создав некий диссонанс между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Когда ворота были закрыты, я об этом не задумывался, такая мысль просто не приходила мне в голову, но сейчас я увидел...

– Я только на минутку к Перу, – крикнул я папе.

Папа, сражавшийся со снегоочистителем, обернулся и кивнул. Я уже пожалел, что предложил встретиться внизу склона – наверное, это чересчур близко, а у папы было какое-то шестое чувство на любые отклонения от привычного. Впрочем, он отвлекся и не обращал на меня внимания. Дойдя до почтовых ящиков, я услышал, как наверху заработал снегоочиститель. Я обернулся, проверяя, видно ли ему меня оттуда. Убедившись, что нет, я стал спускаться по дороге, стараясь держаться у обочины под склоном, чтобы нечаянно не попасться ему на глаза. Спустившись, я стал ждать,

повернувшись лицом к реке. На том берегу проехали одна за другой три машины. Свет фар чиркал желтым по сплошному серому полотну окружающего пространства. Снег в открытом поле сливался по цвету с небом, которое угасало, заволакиваемое надвигающейся темнотой. В черной полынье поблескивала вода. Тут я услышал внизу, в нескольких сотнях метров от меня, шум притормаживающей на повороте машины. Судя по тарахтению мотора, машина была старая. Точно, это Том. Я стал смотреть на дорогу, откуда должна была появиться машина, и уже поднял руку, чтобы помахать, когда она вывернула из-за поворота. Автомобиль тормознул и остановился рядом со мной. Том опустил стекло.

– Ну здорово, Карл Уве, – сказал он.

– Здорово, – сказал я.

Том улыбался.

– Наорали на тебя? – спросил я.

– Старый мудака, – произнес Ян Видар, сидевший рядом с Томом.

– Ничего страшного, – сказал Том.

– Так вы сегодня на вечеринку?

– Да. А ты?

– А как же! Гульну чуток.

– Ну, а как ты вообще?

– Да помаленьку.

Он добродушно посмотрел на меня и улыбнулся:

– Ваше добро там в багажнике.

– Он не заперт?

– Не заперт, не заперт.

Я обошел машину, открыл багажник и выудил из кучи инструментов, ящиков для инструментов, багажных тросов с крючками два бело-красных пакета.

– Ну вот, забрал, – сказал я. – Спасибо тебе, Том. Никогда не забудем, как ты нас выручил.

Том хмыкнул.

– До встречи, – сказал я Яну Видару.

Он кивнул. Том поднял стекло, шутливо откозырял, как обычно, включил передачу и поехал по дороге наверх. Я перескочил через кювет, зашел в лес и, пройдя метров двадцать вверх вдоль занесенного снегом русла ручья, положил бутылки под хорошо заметной березой, когда снизу снова донесся шум проезжающей машины.

Постояв некоторое время на опушке, чтобы не вернуться домой подозрительно быстро, я поднялся по склону холма к папе, который как раз расчищал подъезд к дому. Без шапки и рукавиц, он шел за снегоочистителем в короткой старой дубленке, небрежно замотав шею толстым шарфом. Снежный фонтан из машины, не подхваченный ветром, каскадом падал на землю в нескольких метрах от дороги. Проходя мимо, я кивнул отцу, его взгляд мельком задержался на мне, но на лице его не отразилось никаких чувств. Раздевшись в прихожей, я зашел на кухню, там сидела с сигаретой мама. На подоконнике мигала свеча. Часы на плите показывали поло-

вину четвертого.

– Все в порядке? – спросил я.

– Ага, – кивнула она. – Все готово, будет уютно. Хочешь поесть перед уходом?

– Я сделаю себе пару бутербродов.

На разделочном столе лежал здоровенный белый пакет с лютефиском, в мойке – куча темной немытой картошки. Горела лампочка кофеварки. Колба была наполовину полна кофе.

– Я, пожалуй, еще немного подожду, – сказал я. – Мне выходить не раньше семи. А когда все приедут?

– Бабушку с дедушкой папа сам привезет, думаю, он уже скоро поедет за ними. Гуннар будет к семи.

– Значит, я успею с ними повидаться, – сказал я и пошел в гостиную, встал у окна, посмотрел на долину, затем направился к журнальному столику, взял апельсин, очистил. Елка светилась огнями, в камине горел огонь, на накрытом столе в другом конце комнаты искрились под люстрой хрустальные бокалы. Я подумал про Ингве, как он проворачивал такие вещи, когда учился в гимназии. Теперь-то у него нет с этим проблем; сейчас он в Ауст-Агдере, в гостинице «Виндилхютта» вместе с друзьями. К нам он заехал на Рождество поздно вечером и уехал как можно раньше – уже на третий день рождественских праздников. Здесь он никогда не жил. Осенью после нашего переезда сюда он должен был пойти в третий класс гимназии, но не захотел менять школу, а остал-

ся там, где учились его друзья. Папу это привело в бешенство. Но Ингве твердо стоял на своем, он не стал переезжать, взял кредит на учебу, так как папа сказал, что не даст ему ни кроны, и снял жилье неподалеку от нашего старого дома. Он изредка приезжал к нам в выходные, но папа с ним почти не разговаривал. Отношения между ними стали ледяными. Через год Ингве пошел в армию, и я помню, как он приехал однажды на выходные со своей девушкой, Алфхиль. Раньше он себе такого не позволял. Папа, разумеется, держался подальше, так что мы проводили время вчетвером – Ингве, мама, Алфхиль и я. Только под конец выходных, когда Ингве с Алфхиль уже направились к автобусной остановке, вдруг подъехал папа. Он остановился на дороге, опустил стекло и, улыбаясь, поздоровался с Алфхиль. Таких глаз, какими он посмотрел на нее, я у него раньше не видел. Они сверкали радостным огнем! Ни на кого из нас он так никогда не смотрел, это уж точно. Затем он отвел взгляд, переключил передачу и скрылся за холмом, а мы продолжили спускаться к автобусу.

Неужели это наш отец?

Вся мамина приветливость и заботливость, которую она проявляла к Алфхиль, меркла рядом с четырьмя секундами папиного взгляда. Так же бывало, и когда Ингве приезжал один. Папа, как правило, почти не показывался, предпочитая сидеть у себя в амбаре, и приходил, только когда все садились за стол. Он не задавал Ингве никаких вопросов, а ес-

ли и удостоивал его внимания, то лишь в самом минимальном количестве, но в памяти потом оставалось именно это, вопреки всем маминым попыткам сделать так, чтобы Ингве было хорошо и спокойно. Настроение в доме создавал папа, и в этом никто не мог с ним тягаться. Снегоочиститель на улице вдруг умолк. Я встал с дивана, сгреб кожуру от апельсина и пошел на кухню. Мама чистила картошку, я открыл шкафчик под мойкой и положил апельсиновую кожуру в мусорное ведро. Посмотрев в окно, как папа идет к подъезду, характерным жестом ероша пятерней волосы, я поднялся по лестнице в свою комнату, закрыл за собой дверь, поставил пластинку и снова лег на кровать.

Мы долго обсуждали, как нам обставить поездку в Сём. Было ясно, что и отец Яна Видара, и моя мама непременно предложат подбросить нас до места, и так и вышло, как только мы рассказали им о наших планах. Но с двумя пакетами пивных бутылок это было совершенно исключено. Мы решили, что Ян Видар скажет своим, будто нас обещала отвезти моя мама, а я у себя дома скажу, что нас отвезет отец Яна Видара. Это заключало в себе некоторый риск, если наши родители нечаянно встретятся, однако вероятность того, что у них зайдет речь о том, кто кого повезет, была так мала, что мы решились рискнуть. Оставалось придумать, как мы будем добираться на самом деле. Под Новый год автобусы от нас туда не ходили, но мы выяснили, что есть другой

маршрут, с остановкой на перекрестке у Тименеса, в миле от нас. Значит, придется ловить попутку: если повезет, можно доехать до самого Сёма, если нет, то успеть на перекресток к автобусу. Чтобы избежать ненужных расспросов и не вызвать подозрений, выходить было лучше после того, как соберутся гости. То есть часов в семь. Автобус прибывал в восемь десять, так что при некотором везении все должно было получиться.

Задача напиться требовала тщательного планирования. Нужно было надежным способом раздобыть выпивку, надежно ее спрятать, найти транспорт туда и обратно плюс не попасться на глаза родителям по возвращении. Поэтому с того первого удачного случая в Осло я напивался всего два раза. Причем во второй что-то пошло не так. Лив, сестра Яна Видара, недавно обручилась со Стигом, военным, с которым познакомилась в Хьевике, где служил их с Яном Видаром отец. Она хотела поскорее выйти замуж, родить детей и стать домохозяйкой – довольно необычное желание для девушки ее возраста, ведь она была старше нас всего на год, но жила, можно сказать, в совершенно другом мире. Однажды в субботу они позвали нас на вечеринку к своим друзьям. Поскольку других планов на этот вечер у нас не было, мы приняли приглашение и несколько дней спустя уже сидели на диване в чьем-то доме, попивали домашнего приготовления вино и смотрели телевизор. Вечеринка предполагалась как уютные домашние посиделки, на столе горели свечи, стояла

лазанья, и все, наверное, вышло бы так, как задумано, если бы не вино, которого оказалось немерено. Япил, ощущая ту же невероятную радость, как в первый раз, но затем наступил провал, так что я не помнил ничего, что случилось после пятого бокала вина и до той минуты, когда я очнулся на полу в темном подвале, одетый в тренировочные штаны и университетское худи, которого я раньше никогда не видел, на матрасе, накрытом полотенцами, а рядом лежал сверток с моей насквозь заблеванной одеждой. У стены стояла стиральная машина, рядом с ней – корзина с грязным бельем, у другой стены – морозильник, поверх которого были навалены непромокаемые брюки и куртки. Еще там был штабель краболовок, сачок, удочка и стеллаж с инструментами и всяческим хламом. Всю обстановку, такую незнакомую мне, я охватил одним взглядом, так как проснулся хорошо отдохнувшим и с совершенно ясной головой. Дверь за моей головой была закрыта не до конца, я открыл ее и вошел в кухню, где сидели, сплетя пальцы и лучась от счастья, Стиг и Лив.

– Привет! – сказал я.

– Никак это Гарфилд явился? – отозвался Стиг. – Ну, как ты себя чувствуешь?

– Отлично, – сказал я. – А что случилось?

– А ты не помнишь?

Я помотал головой.

Он захохотал. В ту же минуту вошел Ян Видар из гостиной. – Ну как? Порядок? – сказал он.

– Порядок, – ответил я.

Он улыбнулся.

– Вот и хорошо, Гарфилд, – произнес он.

– А что это вы все: Гарфилд да Гарфилд? – спросил я.

– А ты не помнишь?

– Нет. Ничего не помню. Как я понимаю, меня вырвало.

– Мы смотрели телек. Фильм «Гарфилд». И тут ты вдруг встал, стукнул себя в грудь кулаком и заорал: «*I'm Garfield*». Затем сел и захохотал. Потом еще раз: «*I'm Garfield! I'm Garfield!*» А потом стал блевать. В гостиную. Прямо на ковер. А затем – надо же! – раз и заснул. Бух в самую лужу. И на прием не работаешь.

– Вот черт! – сказал я. – Прошу прощения!

– Ничего, – сказал Стиг. – Это поправимо. Ковер можно отмыть. А теперь главное – доставить вас по домам.

Только тут меня охватил страх.

– Который час? – спросил я.

– Почти час.

– Только час? Тогда хорошо. Я должен был вернуться в час.

Так что опоздаю всего на несколько минут.

Стиг вина не пил, и мы пошли за ним к машине. Ян Видар сел спереди, я – сзади.

– Неужели ты совсем ничего не помнишь? – спросил он, когда мы тронулись и стали подниматься в гору.

– Ни черта не помню.

Я был горд собой. Вся история – то, что я говорил и что делал, – наполняла меня гордостью. Я в ней выглядел почти таким, как мне хотелось. Но когда Стиг высадил меня у почтовых ящиков и я поплелся по темной дороге в чужой одежде, неся свою собственную в пластиковом пакете, я чувствовал только страх.

Только бы они уже легли! Только бы уже легли!

И судя по всему, так оно и было. Свет на кухне не горел, а они всегда гасили его перед тем, как укладываться. Но, открыв дверь и крадучись пройдя в прихожую, я услышал их голоса. Они сидели наверху на диване перед телевизором и разговаривали. Раньше такого не бывало.

Ждут меня? Чтобы проверить? С отца станется потребовать, чтобы я дыхнул. Так делали его родители. Теперь они над этим шутят, но тогда-то это были не шутки. Проскользнуть незаметно не было ни малейшей возможности, лестница находилась совсем рядом с гостиной. Так что остается только вперед и будь что будет.

– Привет! – сказал я. – Вы еще не легли?

– Привет, Карл Уве, – сказала мама.

Я медленно поднялся по лестнице и, очутившись в поле их зрения, остановился.

Они оба сидели на диване, папа – в углу, положив руку на подлокотник.

– Ну как – хорошо провел время? – спросила мама.

Неужели она не видит? Я не верил своим ушам.

– Нормально, – сказал я, начав снова подниматься по лестнице. – Смотрели телик и ели лазанью.

– Отлично, – сказала мама.

– Но я ужасно устал, – сказал я. – Пожалуй, я пойду лягу.

– Конечно, ложись, – сказала мама. – Мы тоже скоро ложимся.

Я был в каких-то четырех метрах от них, одетый в чужие тренировочные штаны, в чужое худи, в руке пластиковый мешок с заблеванными, вонючими вещами. Но родители действительно словно бы ничего этого не видели.

– Ну, спокойной ночи, – сказал я.

– Спокойной ночи, – сказали они.

И вот уже все позади. Как так получилось, я и сам не понял, оставалось только принять это как данность и благодарить судьбу. Мешок с вещами я спрятал в шкафу и затем, оставшись дома один, выполоскал их в ванне, высушил и бросил, как обычно, в корзину с грязным бельем.

Никто не сказал ни слова.

Пить мне нравилось, от этого жизнь делалась ярче. И у меня появлялось ощущение... Ну, не бесконечности, но чего-то такого, неиссякаемого, что ли, какой-то пучины, куда я могу погружаться все глубже и глубже. Ощущение очень ясное и отчетливое.

Неограниченность, вот. Я ощущал себя вне ограничений! Так что я находился в радостном предвкушении. Но хо-

тя в последний раз все и обошлось, я с тех пор установил для себя несколько правил. Надо брать с собой зубную щетку и пасту, еще я купил эвкалиптовых и мятных таблеток и запас жевательной резинки. А еще надо захватить запасную рубашку.

Снизу, из гостиной, доносился папин голос. Я сел, вытянул руки над головой, завел до упора назад, сперва одну, потом другую. Кости у меня все время ныли, с самого начала осени. Я рос. На групповом снимке нашего класса, сделанном весной, я еще был мальчиком среднего роста. А сейчас как-то вдруг вытянулся и стал под метр девяносто. Больше всего я боялся, что дело на этом не остановится и я буду и дальше расти и расти. У нас в гимназии был один ученик, на класс старше, ростом почти два десяти и худой как жердь. Страх, что я стану как он, нападал на меня несколько раз на дню. Иногда я даже молился Богу, в которого не верил, чтобы этого не случилось. Я не верил в Бога, но раньше, в детстве, молился ему, и теперь когда я принимался молиться, то ко мне возвращалось что-то вроде детской надежды. «Господи Боже мой, молился я, пожалуйста, сделай так, чтобы я перестал расти. Пускай я буду ростом метр девяносто, метр девяносто один или девяносто два, но не больше! Обещаю тебе, что постараюсь быть очень хорошим, если ты так сделаешь. Господи Боже, Господи Боже мой, ты слышишь меня?»

Понимая, что это глупость, я продолжал молиться, потому что от страха-то не отмахнешься, как от глупости, страх был

мучительный. Другой страх, еще ужаснее, стал одолевать меня, когда я вдруг обнаружил, что мой член, когда встает, торчит чуть вбок. Значит, я – урод, он у меня кривой. По своему невежеству я не знал, можно ли это как-то исправить – сделать операцию или что там еще предлагает медицина. Я вставал по ночам, шел в ванную и заставлял его подниматься, чтобы проверить – вдруг что-нибудь изменилось. Какое там! Все оставалось по-прежнему. Он загибался, гад, почти к самому животу! И кажется, крючковатый? Кривой и крючковатый, как торчащий корень в лесу! Значит, я никогда не смогу ни с кем быть в постели. А поскольку именно это было тогда единственным, чего я хотел и о чем мечтал, меня охватывало отчаяние. Конечно же, я додумался, что могу его распрямить. И я стал стараться, я разгибал его изо всех сил до боли. Он выпрямлялся, но болел. И не будешь ведь, лежа с девушкой в постели, все время давить рукой на свой член? Так что же мне на хрен делать? Да и можно ли вообще что-то поделать? Эта мысль точила меня. Всякий раз, как он вставал, отчаяние охватывало меня с новой силой. Сидел ли я на диване, обнимаясь с девчонкой, а то и запустив руку под ее свитер, а член в штанине торчал как вертел, я понимал, что это максимум, что мне дано, и дальше мне не пойти никогда. Это было хуже, чем импотенция, так как делало меня не только бессильным, но и нелепым. Но можно ли и об этом молить Бога – о том, чтобы это прекратилось? И в конце концов я решил помолиться и об этом. «Господи Боже,

просил я, сделай так, чтобы мой член, наполнившись кровью, выпрямлялся. Я прошу тебя об этом один-единственный раз. Так что, пожалуйста, выполни мою просьбу». Когда я поступил в гимназию, всех учеников первого класса, не помню уж по какому поводу, однажды собрали на трибунах зимнего стадиона «Гимле». И вот один из учителей, известный в Кристиансанне нудист, который, как говорили, красил однажды летом свой дом в одном галстуке, а в повседневной жизни отличался неряшливым, провинциально-богемным видом и светлой кудрявой всклокоченной шевелюрой, тогда выступил перед нами и прочитал нам стихотворение, он декламировал, вышагивая вдоль трибун, и вдруг под всеобщий хохот провозгласил хвалу торчащему вбок члену.

Я не смеялся. У меня, кажется, отвисла челюсть. Я так и застыл с разинутым ртом и остановившимся взглядом, пока в голове у меня медленно укладывалась мысль, что стоящий член – кривой у всех. А если не у всех, то у многих, то есть достаточно часто, чтобы воспеть это в стихах.

Откуда взялось все это нелепое? Всего лишь два года назад, когда мы переехали сюда, я был тринадцатилетним мальчишкой с гладкой кожей, не умевшим произносить «р», но которому вполне хватало купания и игры в футбол на новом месте, где пока что никто ничего против меня не имел. Наоборот, в школе в первые дни все стремились со мной поговорить, новички были тут редкостью, всем, конечно, было

интересно узнать, кто я такой и что умею. По вечерам и выходным случалось, что посмотреть на меня приезжали на велосипедах девочки даже из Хамресаннена. Бывало, я играю в футбол с Пером, Трюгве, Томом и Вильямом, и вдруг на дороге показываются две девчонки на велосипедах. Что им тут надо? Наш дом стоял с краю поселка, за ним уже начинался лес, потом две фермы, за ними снова лес, лес и лес. Девчонки соскочили с велосипедов, посмотрели в нашу сторону и скрылись за деревьями. Потом глядим, снова едут в нашу сторону, останавливаются, смотрят.

– Чего это они приехали? – спросил Трюгве.

– Поглядеть на Карла Уве, – сказал Пер.

– Смеешься, – сказал Трюгве. – Ехать ради этого из самого Хамресаннена! Это же целая миля!

– А иначе зачем бы им приезжать? Уж точно не для того, чтобы посмотреть на тебя, Трюгве. Ты-то всегда тут жил.

Мы стояли и смотрели, как они продираются сквозь кусты. На одной была розовая куртка, на другой голубая. У обеих – распущенные волосы.

– Да ладно, – сказал Трюгве. – Пошли играть!

И мы снова продолжили игру на речном мысу, где отец Тома смастерил двое ворот. Дойдя до зарослей камыша, примерно в ста метрах от нас, девочки остановились. Я знал обеих, ничего особенного, так что я не стал обращать на них внимание, а они, постояв минут десять в камышах, словно странные птицы, вернулись на дорогу и уехали домой. В дру-

гой раз, через пару недель, явились три девчонки, когда мы работали в складском помещении паркетной фабрики. Мы укладывали дощечки на поддоны, перемежая слои рейками; работа была сдельная, и, когда я научился бросать на поддон целую охапку паркетин так, что они сами ложились одна к другой, работа стала приносить какие-то деньги. Мы могли приходить и уходить в любое время, зачастую мы заскакивали на склад по дороге из школы и, собрав штабель, отправлялись домой обедать, после обеда возвращались и работали до вечера. Нам до того хотелось денег, что мы готовы были вкалывать каждый вечер и все выходные, но часто случалось, что работы не было, либо потому, что мы и так уже забили весь склад, либо потому, что рабочие фабрики сами сложили весь паркет. Отец Пера работал в фабричной администрации, так что чаще всего от него или от Вильяма, чей отец работал на фабрике шофером, к нам приходила счастливая весть: появилась работа. В один из таких вечеров к нам на склад и явились три девчонки. Они тоже были из Хамресаннена. На этот раз я был подготовлен: прошел слух, что одна девочка из седьмого класса проявляет ко мне интерес, и вот она явилась; гораздо более смелая, чем те две, которые, как болотные птицы, топтались в камышах, эта – ее звали Лина – сразу подошла ко мне и встала, облокотившись на ограждение штабеля с самоуверенным видом, жуя жвачку и глядя, чем я занимаюсь, в то время как ее подружки держались в сторонке. Узнав, что она мной интересуется,

я решил, что надо не зевать; потому что, хотя она училась еще только в седьмом классе, ее сестра была фотомodelью, так что если Лина и не станет моделью, то все равно будет хороша собой. Все так про нее и говорили, что со временем она будет хороша собой, что у нее к тому все данные. Она была худая и длинноногая, с длинными темными волосами, бледным лицом с высокими скулами и непропорционально крупным ртом. Правда, ее долговязость и разболтанные движения, придававшие ей сходство с теленком, вызывали у меня некоторый скепсис. Хотя бедра у нее были что надо. Рот и глаза тоже. Другим ее недостатком было то, что она не выговаривала «р» и казалась глуповатой или рассеянной. Это замечали все. В то же время в классе она пользовалась популярностью, другие девочки наперебой хотели с ней дружить.

– Приветик, – сказала она. – Я пришла к тебе. Ты рад?

– Вижу, – сказал я и отвернулся в сторону, набрал охапку паркетин, кинул их на поддон, где они легли одна к одной, подравнял, чтобы ничего не торчало, и набрал новую охапку.

– Сколько вам платят за час? – спросила она.

– Работа сдельная, – сказал я. – Мы получаем двадцать крон за двойной штабель, сорок за четверной.

– Понятно, – сказала она.

Пер и Трюгве из параллельного с ней класса, не раз выражавшие свое неодобрительное отношение к Лине и ее компании, работали в нескольких метрах от меня. Меня вдруг поразила мысль, что они похожи на гномов. Приземистые, ссу-

тулившиеся, сосредоточенные, они упорно трудились среди громадного помещения, до потолка забитого поддонами, не поднимая головы.

– Я тебе нравлюсь? – спросила она.

– Как тебе сказать, – ответил я. Увидев, как она входит в складское помещение, я решил принимать предложение, но сейчас, когда она стояла передо мной и дело, казалось бы, было на мази, я не смог сделать последний, решающий шаг. Каким-то непостижимым, но отчетливо ощутимым образом я понял, что она гораздо опытней меня. Да, пускай она глуповата, но зато опытна. И вот опытность-то меня и отпугивала.

– Ты мне нравишься, – сказала она. – Но об этом ты, наверное, уже слышал.

Я наклонился и стал поправлять паркетины, отчего-то вдруг покраснев.

– Нет, – сказал я.

Некоторое время она молчала, все так же опираясь на ограждение и жуя жвачку. Подружкам возле другого штабеля, кажется, надоело ждать. Наконец она выпрямилась.

– Нет так нет, – сказала она, повернулась и пошла прочь.

Не то беда, что я упустил шанс, а то, каким образом это произошло: я не смог сделать последний шаг, перейти последний мост. А едва интерес ко мне как к новичку остыл, даром мне уже ничего не перепало. Наоборот, сложившаяся репутация нагоняла меня и тут. Я догадывался, что она

уже близко, слышал ее отзвуки, шаги, хотя, казалось бы, места, где я жил раньше и где находился теперь, никак не были связаны. В новой школе я с первого дня положил глаз на одну девочку, по имени Ингер, у нее были красивые узкие глаза, смуглая кожа, детский вздернутый носик, составлявший контраст с другими чертами лица, их плавными и удлиненными линиями, и неприступный вид, когда она не улыбалась. Ее улыбка, открытая и добрая, восхищала меня и казалась бесконечно привлекательной, как тем, что не была адресована ни мне, ни мне подобным, а принадлежала ее собственной сущности, доступной только ей и ее друзьям, так и тем, что верхняя ее губа при этом едва заметно кривилась. Ингер была на один класс младше меня, и на протяжении двух лет, что я ходил в эту школу, я ни разу не перемолвился с ней ни единым словом. Вместо нее я сошелся с ее двоюродной сестрой Сусанной. Сусанна училась в параллельном классе и жила в доме на другом берегу реки. У нее был остренький носик, маленький рот с длинными передними, как у зайца, зубами, зато грудь была полная и прекрасной формы, бедра – что надо, а глаза смотрели с вызовом, будто всегда знали, чего хотят. Часто это было желание померяться с другими. Если Ингер, с ее неприступностью, казалась исполненной загадочности и тайны, а ее притягательность заключалась в чем-то, чего я не знал и о чем мог только догадываться или мечтать, то Сусанна скорее была мне ровней и внутренне более напоминала меня. С нею мне особенно

нечего было терять, нечего страшиться, но зато и ждать ничего особенного не приходилось. Мне исполнилось четырнадцать лет, ей пятнадцать, и за несколько дней мы с ней незаметно сблизились, как это бывает в таком возрасте. Вскоре Ян Видар подружился с ее подругой Маргретой. Наши отношения развивались на зыбкой грани двух разных миров – детства и юности. По утрам мы усаживались рядом в автобусе, сидели вместе на пятничных общих собраниях в школе, каждую неделю вместе ездили на велосипедах в церковь на подготовку к конфирмации, а потом стояли где-нибудь на перекрестке или на парковке перед магазином, где самая обстановка сглаживала различия между нами и где наши отношения с Сусанной и Маргретой становились просто товарищескими. Другое дело – в выходные дни, когда можно было съездить в город в кино или посидеть у кого-нибудь в полуподвальной гостиной, уплетать пиццу и пить колу, обнимаясь перед телевизором или под включенный проигрыватель. Здесь то, о чем все думали, стало уже заметно ближе. То, что еще месяц назад казалось чем-то недостижимым – поцелуй, о подступах к которому мы рассуждали с Яном Видаром, придумывая, с какой стороны лучше сесть и что сказать, чтобы запустить процесс, ведущий к этому результату, или лучше прямо целоваться без лишних слов, – давно было достигнуто и уже вошло в привычку; поев пиццы или лазаньи, девочки садились к нам на колени, и мы начинали обжиматься. Иногда мы даже устраивались на диване – одна парочка в одном

углу, другая – в другом, если была уверенность, что никто не придет. Однажды вечером в пятницу Сусанна осталась в доме одна. После обеда Ян Видар приехал ко мне на велосипеде, и мы пешком отправились вдоль реки и по узкому пешеходному мостику перешли на другую сторону к дому, где она жила и где сейчас они ожидали нас. Ее родители приготовили пищу, мы ее съели, Сусанна села ко мне на колени, Маргрета на колени к Яну Видару, на стереоустановке стояла «*Telegraph Road*» группы *Dire Straits*, я обнимался с Сусанной, Ян Видар – с Маргретой, и так продолжалось словно уже целую вечность. «*Я люблю тебя, Карл Уве*, – прошептала она мне на ухо. – *Хочешь, пойдем в мою комнату?*»

Я кивнул, и мы встали, держась за руки.

– Мы уходим ко мне в комнату, – сказала она остающимся. – Без нас и вам тут будет спокойнее.

Они взглянули на нас и кивнули. Затем продолжили обжиматься. Длинные черные волосы Маргреты рассыпались, почти закрыв все лицо Яна Видара. Языки вращались друг у друга во рту. Он сидел замерев и только поглаживал ее по спине, то вверх, то вниз. Сусанна улыбнулась мне, крепче сжала мою руку и провела через длинный коридор в свою комнату. Там было темнее и прохладнее. Я уже бывал здесь, и мне нравилось тут бывать, хотя это всегда случалось, когда ее родители были дома, и мы с ней в принципе не делали ничего такого, что отличалось бы от наших посиделок с Яном Видаром у него дома, то есть сидели, разговаривали,

переходили иногда в гостиную и смотрели телевизор вместе с ее родителями, ходили на кухню подкрепиться бутербродами, уходили на реку и долго гуляли на берегу, но, как-никак, это была не темная, пропахшая потом комната Яна Видара с его усилителем и стереоустановкой, с его гитарой и его пластинками, его журналами для любителей гитары и его комиксами, тут мы были в чистенькой, пахнувшей духами комнате Сусанны с белыми обоями в цветочек, с кроватью под вышитым покрывалом, с белыми полками, на которых стояли книги и лежали ее украшения, с ее белым шкафом, в котором аккуратными стопками лежала на полках и висела на плечиках одежда. При виде ее синих джинсов, брошенных на спинку стула, я глотал вставший в горле комок, потому что их она потом будет надевать, натягивая на бедра, застегивать на молнию и пуговицы. Вся комната Сусанны была полна таких обещаний, которых я даже не формулировал мысленно, однако они будоражили меня, поднимая волны эмоций. Имелись и другие причины, почему мне там нравилось. Ее родители всегда были приветливы, и по их тону я угадывал, что они считаются со мной. Я что-то значил в жизни Сусанны, она упоминала обо мне в разговорах с родителями и с младшей сестрой.

Она подошла к окну и закрыла его. За окном стоял туман, сквозь серую пелену почти не видно было огней соседних домов. По дороге внизу проехало несколько машин, грохоча музыкой из динамиков. И снова все стихло.

– Ну вот, – сказал я.

Она улыбнулась.

– Ну вот.

Сказала и села на кровать. Я ничего особенного не ожидал, разве что мы оба ляжем, вместо того чтобы я сидел, держа ее на коленях. Как-то я запустил руку под ее стеганую куртку и накрыл ладонью грудь, но Сусанна сказала «нет», и я убрал руку. В этом «нет» не прозвучало одергивания или укора, скорее констатация, напоминание о некоем законе, которому мы подчиняемся. Мы тискались, и хотя я всегда был готов этим заниматься, но вскоре наступало пресыщение. Через некоторое время возникало какое-то тошнотворное состояние, было в этих ласках что-то слепое и безвыходное, все во мне стремилось обрести этот выход, я чувствовал, он есть, но для меня он закрыт. Я хотел идти дальше, но приходилось останавливаться в долине вращающихся языков и падающих мне на лицо волос.

Я сел с ней рядом. Она улыбнулась мне. Я поцеловал ее, она закрыла глаза и легла на кровать. Я взобрался на нее, чувствуя под собой ее податливое тело. Она застонала. Может быть, я слишком давлу на нее? Я лег рядом, закинув ногу на ее ноги. Провел ладонью по ее руке от плеча до кисти. Когда коснулся ее пальцев, она крепко стиснула мою руку. Я поднял голову и открыл глаза. Она смотрела на меня. Лицо ее, блевшее в полумраке, было серьезно. Я наклонился и поцеловал ее в шею. Этого я еще никогда не делал. Лег голо-

вой ей на грудь. Она стала ерошить мне волосы. Я услышал, как бьется ее сердце. Я погладил ее бедра. Она задвигалась. Я приподнял ее свитер и положил ладонь ей на живот. Наклонился и поцеловал его. Она взяла край свитера и медленно потянула его выше. Я не верил своим глазам. Прямо передо мной были ее обнаженные груди. В гостиной внизу снова поставили пластинку «*Telegraph road*». Не медля ни секунды, я впился в них губами. Сначала в одну, потом в другую. Я терся об них щеками, лизал их, сосал, затем обхватил их ладонями и, опомнившись, снова стал ее целовать, потому что на несколько секунд совершенно от этого отвлекся. О большем я не осмеливался ни думать, ни мечтать, и вот оно тут наяву, но уже через десять минут возникло знакомое пресыщение и того, что есть, вдруг сделалось мало, мне хотелось дальше, куда бы это меня ни завело, и я сделал такую попытку, нащупал молнию на ее джинсах. Молния расстегнулась, Сусанна ничего не говорила, она по-прежнему лежала с закрытыми глазами. Под джинсами виднелись белые трусики. Я с трудом сглотнул. Взявшись с двух сторон за джинсы, я стал их стягивать. Она ничего не говорила. Только шевельнулась, помогая мне. Спустив их до колен, я положил ладонь поверх трусиков. Ощутил под ними мягкие волосы. «Карл Уве», – сказала она. Я снова лег на нее. Мы стали целоваться и, целуясь, я потянул трусики вниз. Совсем немного, только чтобы просунуть палец, он скользнул по волосам, и в тот миг, как я коснулся влажного и гладкого, во мне точно что-то

взорвалось. Живот пронзило болью, а потом пах свело точно судорогой. В следующий миг все вокруг стало как чужое, ее обнаженные груди и обнаженные бедра вдруг потеряли всякое значение. Но, взглянув на нее, я понял, что она не ощущает того же, что я. Она лежала, как раньше, с закрытыми глазами, приоткрыв губы, и тяжело дышала, с ней происходило то самое, что только что пережил я, но у меня это было уже позади.

– Что ты? – спросила она.

– Ничего, – сказал я. – Но, может быть, лучше вернуться к нашим?

– Нет, – сказала она. – Давай немножко подождем.

– Хорошо, – сказал я.

Мы остались и продолжали обниматься, но во мне это не вызывало никаких чувств, с таким же успехом я мог бы резать хлеб. Я целовал ее груди, и во мне это не пробуждало никакой реакции, все стало мне поразительно безразличным, соски как соски, кожа как кожа, пупок как пупок, но затем, к моему радостному удивлению, все в ней изменилось так же внезапно, и снова я ничего не желал сильнее, как только лежать и целовать ее где придется.

Тут в дверь постучали.

Мы поднялись и сели, она натянула джинсы и опустила свитер.

Это пришел Ян Видар.

– Идете к нам? – спросил он.

– Да, – сказала Сусанна. – Сейчас придем, подождите немножко.

– Потому что уже пол-одиннадцатого, – сказал он. – Я хочу уйти до прихода твоих родителей.

Пока Ян Видар укладывал по конвертам и собирал в пластиковый пакет свои пластинки, я поймал взгляд Сусанны и улыбнулся. Когда мы, уже одетые и готовые к выходу, поцеловались с ними на прощание, Сусанна мне подмигнула.

– Увидимся завтра, – сказала она.

На улице моросило. Свет фонарей, мимо которых мы шли, соединял крохотные частицы воды в большие сияющие круги, похожие на нимбы.

– Ну что? – спросил я. – Как вы?

– Да как обычно, – сказал Ян Видар. – Сидели, тискались. Не знаю, надолго ли меня хватит с ней валандаться.

– Понятно. Ты же в нее нельзя сказать что влюблен.

– Ну, а ты влюблен?

Я пожал плечами:

– Может, и нет.

Мы спустились к главной дороге и двинулись по ней в долину. С одной стороны тянулась ферма, напитавшаяся водой земля блестела у дороги в лучах фонаря, а дальше исчезала в темноте, пока не возникала снова возле длинного сарая, ярко освещенного. На другой стороне стояло несколько старых домов с садами, спускавшимися к реке.

- Ну, а у тебя как было? – спросил Ян Видар.
- У меня хорошо, – сказал я. – Она сняла свитер.
- Да что ты говоришь? Неужто правда?

Я кивнул.

- Ладно врать-то, придурок! Не было этого.
- Было.
- Что, Сусанна?
- Ага.
- А ты что?
- Целовал ее грудь. Что же еще?
- Вот зараза! Не было этого!
- Было.

Мне не хватило духу сказать ему, что она сняла и трусики. Если бы он добился чего-то от Маргреты, я бы ему сказал. Но у них не вышло, а хвастаться не хотелось. Да он бы мне все равно не поверил. Ни за что в жизни.

Мне и самому почти не верилось.

- Ну, и как они?
- Что «они»?
- Ну груди же.
- Что надо. Большие и крепкие. Очень крепкие. Они стояли торчком, хотя она лежала.
- Придурок! Врешь ты все.
- Да нет же, черт возьми.
- Вот черт!

На некоторое время мы умолкли. Перешли через висья-

чий мост, под которым, черная и блестящая, бесшумно катилась полноводная речка, прошли через клубничное поле и вышли на асфальтированную дорогу, которая за крутым поворотом поднималась по тесному ущелью под нависшими над нею черными елями и после очередного изгиба наверху приводила к нашему дому. Все было тяжким, темным и мокрым, кроме сознания произошедшего, лучом прорезавшего меня и заставившего мои мысли всплывать пузырьками на свет. Кругом стояла промозглая беспросветная тьма, и только в моей душе от воспоминания о случившемся пузырьками шампанского играла радость. Ян Видар наконец успокоился, поверив в мое объяснение, и я горел желанием рассказать ему, что были не только ее груди, а и еще кое-что, но, увидев его хмурое лицо, я не стал ничего говорить. Сохранить это как нашу общую с Сусанной тайну казалось здорово. В то же время судороги меня встревожили. Волос на лобке у меня почти не было, всего несколько длинных черных волосин, остальное практически только пушок, что тоже меня пугало – вдруг об этом проведают девчонки и особенно Сусанна. Я знал, что, пока там не появятся волосы, я не смогу ни с кем переспать, и потому истолковал судороги как что-то вроде ложного оргазма, решив, что я, очевидно, зашел дальше, чем позволял мой член. Откуда и боль. Видно, я кончил «всухую». Я слышал, что это вредно. А впрочем, в трусах ощущалась влажность. Возможно, это моча, а возможно, сперма. А вдруг это кровь? Два последних предположения я

считал маловероятными, я же еще не достиг половой зрелости, но никаких болей в животе я раньше не ощущал. А тут вдруг почувствовал боль, и это меня беспокоило.

Ян Видар зашел за своим велосипедом, который он оставил у нас возле гаража. Мы немного постояли, поговорили, и он поехал к себе, а я вошел в дом. Там был Ингве, который приехал на выходные, они сидели вдвоем с мамой на кухне, я их заметил с улицы, заглянув в окно. Папа, должно быть, был в амбаре. Раздевшись в передней, я пошел в туалет, заперся, спустил брюки до колен, раздвинул ширинку и потрогал указательным пальцем мокрую ткань. Жидкость была клейкая. Я поднял палец и потер его о большой. Пахло морем.

Морем?

Так, значит, это сперма?

Ну да, сперма.

Я достиг половой зрелости.

Ликуя, я вошел в кухню.

– Хочешь пиццы? Мы тебе кусочек оставили, – сказала мама.

– Нет, спасибо. Мы поели в гостях.

– Хорошо провел время?

– Еще как, – сказал я, не в силах сдержать улыбки.

– Ишь, как у него щеки-то покраснелись, – заметил Ингве. – Никак от счастья?

– Пригласи ее как-нибудь к нам, – предложила мама.

– Обязательно приглашу, – сказал я, продолжая неудер-

жимо улыбаться.

Отношения с Сусанной закончились две недели спустя. С моим лучшим другом Томом с Трумёйи мы еще давно как-то договорились обмениваться фотографиями самых красивых девушек. Не спрашивайте меня почему. С тех пор я давно забыл об этом уговоре, как вдруг однажды вечером получаю по почте конверт с фотографиями – паспортными снимками Лены, Беаты, Эллен, Сив, Бенты, Марианны, Анны Лисбет и уж не помню, как их всех там звали. Это были самые красивые девушки Трумёйи. Пришел мой черед добывать фотографии самых красивых девушек Твейта. Несколько дней я всесторонне обсуждал этот вопрос с Яном Видаром, и мы составили список; осталось раздобыть снимки. К некоторым девушкам я мог обратиться сам, как, например, к Сусанне, подруге сестры Яна Видара, достаточно взрослой, чтобы не переживать, что она об этом подумает, фото других я рассчитывал получить через Яна Видара, чтобы он попросил других ее подруг. Руки у меня самого были связаны, так как попросить фотографию означало проявить к девушке интерес, а поскольку у меня была Сусанна, такой неподобающий интерес вызвал бы сплетни. Но существовали и другие способы. Например, через Пера. Не найдется ли у него фотографии его одноклассницы Кристин? Фотография Кристин у Пера нашлась, и таким путем я наскреб шесть снимков. В смысле количества этого было вполне достаточно, но недо-

ставало главной жемчужины, фотографии Ингер, которую мне страшно хотелось показать Ларсу. А Ингер была двоюродной сестрой Сусанны.

И вот однажды после занятий я достал из гаража велосипед и отправился к Сусанне. Сегодня мы не договаривались о встрече, и она, казалось, очень обрадовалась, когда вышла открыть мне дверь. Я поздоровался с ее родителями, мы ушли в ее комнату, посидели, поговорили о том, чем нам заняться, но, так ни о чем толком и не договорившись, перешли на разговоры о школе и учителях. Наконец я, словно случайно, завел разговор о том, зачем пришел. Нет ли у нее фотографии Ингер и не может ли она ее мне дать?

Она как сидела, так и застыла на кровати, воззrivшись на меня с недоумением:

– Ингер? Зачем?

Подобной проблемы я не ожидал. Сусанна ведь была моей девушкой, и, раз я прямо ее прошу, это заведомо говорит о честности моих намерений.

– Этого я не могу тебе сказать.

Я и в самом деле не мог. Открой я ей, что хочу послать приятелю из Трумёйи фотографии самых красивых девушек Твейта, она бы рассчитывала, что и сама окажется среди них. Но ее фотографии там не было, и этого ей сообщить я не мог.

– Ты не получишь фотографию Ингер, пока не скажешь мне, для чего она тебе нужна.

– Но я не могу это сказать. Неужели нельзя просто дать

мне фотографию? Я прошу не для себя, если ты это хочешь знать.

— А для кого тогда?

— Этого я не могу сказать.

Она встала. Я понял, что она разозлилась. Все движения ее стали резкими, какими-то отрывистыми, словно она решила не дать мне полюбоваться на них до конца во всем их богатстве, лишая меня тем самым своих щедрот.

— Ты влюблен в Ингер! Ведь так?

Я промолчал.

— Карл Уве! Разве не так? Я уже от многих это слышала.

— Забудем про фотографию, — сказал я. — Забудь о ней!

— Так это правда?

— Нет, — сказал я. — Может быть, был немножко, когда только приехал, в самом начале. Но теперь — нет.

— Тогда зачем тебе фотография?

— Этого я не могу сказать.

Она заплакала.

— Значит, правда! Ты влюблен в Ингер. Я знаю! Знаю!

Раз знает Сусанна, то, наверное, знает и Ингер, осенило меня вдруг.

В голове словно загорелась лампочка. Если знает, то найти к ней подход, наверное, не так уж сложно. Например, я могу на каком-нибудь школьном празднике подойти к ней и пригласить на танец, и она ни о чем не догадается, подумает, что она просто одна из многих. А может быть, даже заинте-

ресуется мной?

Сусанна, всхлипывая, подошла к секретеру в другом конце комнаты и открыла ящик.

– Вот тебе твоя фотография, – сказала она. – На, бери! И чтобы я больше тебя здесь не видела!

Закрыв одной рукой лицо, она другой протянула мне фотографию Ингер. Ее плечи вздрагивали.

– Это не для меня, – сказал я. – Честное слово. Я не для себя прошу.

– Чертов говнюк! – сказала она. – Уходи!

Я взял фотографию.

– Так между нами, что ли, всё? Мы расстаемся? – сказал я.

Это было за два года до того ветреного и морозного новогоднего вечера, когда я читал, лежа на кровати, в ожидании начала праздника. Уже два-три месяца спустя у Сусанны появился новый парень. По имени Терье – коротышка, несколько половатый, он завивал волосы и носил дурацкие усики. Уму непостижимо, как она могла променять меня на такого. Ему, правда, было уже восемнадцать лет, и он даже имел машину, на которой они разъезжали по вечерам и в выходные. Но все же: предпочесть его мне? Коротышку с усиками? В таком случае – ну ее, эту Сусанну! Так я думал тогда и так продолжал думать сейчас, лежа с книгой на кровати. Но теперь я был уже не ребенок, а взрослый, шестнадцатилетний парень, и учился уже не в школе средней ступени в

Ве, а в гимназии – Кристиансаннской кафедральной школе.

Со двора донесся скрежещущий, словно бы ржавый, звук отворяемой гаражной двери, затем стук, когда ее захлопнули, урчание заведенного и работающего вхолостую мотора. Я подошел к окну и постоял перед ним, пока не увидел исчезающие за поворотом красные габаритные огни. Затем я спустился в кухню, поставил чайник, достал кое-что из приготовленных рождественских закусок: ветчину, зельц, колбасу, рулет из баранины, печеночный паштет, нарезал хлеба, принес из гостиной газету, разложил ее на столе и устроился почитать за едой. За окном уже совсем стемнело. Стол под красной скатертью и свечи, горевшие на подоконнике, делали обстановку по-праздничному уютной. Когда вода закипела, я ополоснул кипятком заварной чайник, бросил несколько щепоток чайных листьев и, заливая их дымящимся кипятком, крикнул в пространство:

– Хочешь чаю, мама?

Никто не откликнулся.

Я сел за стол и продолжил трапезу. Немного погодя я взял чайник и налил себе чаю. Темно-коричневая заварка, как растущее дерево, поднималась вдоль белых стенок чашки. Несколько чаинок закружились в струе, остальные черным ковром устлали дно. Я добавил в чай молока, насыпал три ложки сахара, помешал, подождал, пока чайники снова улягутся на дно, и стал пить.

– Ммм...

За окном, мигая огнями, проехала снегоуборочная машина. Затем отворилась входная дверь. Я услышал топот на крыльце и обернулся в тот самый момент, когда в дверях с охапкой дров показалась мама в слишком большой для нее папиной дубленке.

Зачем она надела его дубленку? Это было на нее не похоже.

Она прошла в гостиную, не оборачиваясь на меня. Волосы и воротник у нее были засыпаны снегом. Загремели сброшенные в деревянную корзинку поленья.

– Хочешь чаю? – спросил я, когда она вернулась.

– Да, спасибо, с удовольствием, – ответила она. – Только сначала разденусь.

Я встал и принес для нее чашку, поставил ее напротив и налил чаю.

– Куда ты ходила? – спросил я, когда она села за стол.

– За дровами.

– А до этого? Я тут уже довольно долго сижу. Принести дров – это ведь не целых двадцать минут?

– А, это я меняла лампочку в гирлянде. Теперь она снова светится.

Елка в конце двора сверкала в темноте огнями.

– Я могу чем-нибудь помочь? – спросил я.

– Нет. Все уже готово. Осталось только погладить блузку. А потом ничего, только приготовить еду, но это сделает папа.

– Ты не могла бы заодно погладить мне рубашку?

Она кивнула:

– Брось ее там, на гладильную доску.

Пужинав, я пошел к себе наверх, включил усилитель и гитару и уселся поиграть. Мне нравился запах от нагретого усилителя, и я готов был играть уже ради него одного. Мне нравились также все мелкие принадлежности, которые нужны были для игры на гитаре: фузз-бокс и педаль хору-са, штепсели и удлинители, медиаторы и упаковки со струнами, слайды, каподастр и обитый изнутри мягкой материей футляр для гитары с разными мелкими отделениями. Мне нравились названия брендов: *Gibson, Fender, Rickenbacker, Marshall, Music Man, Vox, Roland*. Вместе с Яном Видаром мы ходили в музыкальные магазины и с видом знатоков разглядывали гитары. Моя собственная была дешевой копией «Стратокастера», я купил ее к конфирмации и заказал к ней новые звукосниматели, разумеется «на уровне самых современных требований», и новый медиатор по почтовому каталогу Яна Видара. С этим все было в порядке. Вот только с игрой на гитаре дело обстояло не так хорошо. Несмотря на регулярные и усердные занятия на протяжении полутора лет, успехи мои были невелики. Я знал все аккорды, без конца повторял гаммы, но так и не смог от них освободиться, так и не *заиграл*, связь между мыслями и пальцами так и не возникла, мои пальцы подчинялись как будто не мне, а гаммам, они могли сыграть любую гамму туда и обратно, но к музыке

то, что звучало из усилителя, не имело никакого отношения. Я посвящал целый день или два, чтобы вызубрить соло, нота за нотой, и действительно мог потом его исполнить, но не более того. То же самое и Ян Видар. Но он был трудолюбивее меня, он действительно много упражнялся, временами вообще занимался только игрой на гитаре, но и из его усилителя раздавались только гаммы и повторение чужих гитарных соло. Он подпиливал ногти, чтобы удобнее было играть, отпустил длинный ноготь на правом мизинце, чтобы пользоваться им как медиатором, он купил специальный эспандер для пальцев и постоянно сжимал его, чтобы они стали сильнее, он перебрал всю свою гитару и вместе с отцом, инженером-электриком, смастерил к ней что-то наподобие синтезатора. Отправляясь к нему, я часто брал инструмент с собой и ехал на велосипеде, управляя им одной рукой, а в другой у меня болтался футляр с гитарой, и хотя то, что у нас получалось сыграть в его комнате, звучало не бог весть как, это все равно было здорово, поскольку с гитарой в руке я *ощущал* себя музыкантом, со стороны это выглядело впечатляюще, и если мы пока еще не достигли того, к чему стремились, то со временем все ведь могло измениться. Будущего мы не знали – никому не известно, сколько понадобится упражняться, чтобы научиться играть свободно. Месяц? Полгода? Год? А пока мы сидели себе и играли. Какую-никакую группу мы тоже сколотили; некий Ян Хенрик из седьмого класса немного играл на гитаре, и, хотя он носил мокасины и модные шмот-

ки и приглаживал волосы гелем, мы предложили ему играть у нас на бас-гитаре. Он согласился, а я, как самый плохой гитарист, взялся за ударные. Летом, после того как мы перешли в девятый класс, отец Яна Видара свозил нас в Эвье, и мы, скинувшись, купили дешевую ударную установку. Группа была готова. Мы поговорили с директором школы, получили разрешение и раз в неделю притаскивали в актовый зал ударные и усилители и играли.

Переехав сюда год назад, я слушал *The Clash*, *The Police*, *The Specials*, *Teardrop Explodes*, *The Cure*, *Joy Division*, *Nirvana*, *Echo and the Bunnymen*, *The Chameleons*, *Simple Minds*, *Ultravox*, *The Allers Værste*, *Talking Heads*, *The B52's*, Дэвида Боуи, *The Psychedelic Furs*, Игги Попа, *Velvet Underground*, все это благодаря Ингве, который не только тратил на музыку все деньги, какие у него были, и сам играл на гитаре, которая в его руках приобретала свое особенное звучание и неповторимый стиль, но и сочинял музыку. В Твейте никто даже не слыхал про эти группы. Ян Видар, например, слушал *Deep Purple*, *Rainbow*, *Gillan*, *Whitesnake*, *Black Sabbath*, Оззи Осборна, *Def Leppard*, *Judas Priest*. Соединить эти два мира было невозможно, и, поскольку интерес к музыке был для нас общим, кому-то следовало уступить. Уступил я. Покупать пластинки этих групп я не покупал, но знакомился с ними у Яна Видара, в то время как свои группы, некоторые из которых тогда много для меня значили, я слушал дома в одиночестве. В дополнение к этому нашлось несколь-

ко компромиссных групп, которые нравились нам обоим, в первую очередь *Led Zeppelin*, но также и *Dire Straits*, которых он любил главным образом за игру на гитаре. Чаше всего мы спорили тогда на тему «чувство или техника». Ян Видар, например, мог купить диск группы *Lava* за то, что они так технично играют, и не чурался группы *TOTO*, у которой к тому времени вышло два хита, я же, в отличие от него, от души презирал техничность, она совершенно не сочеталась с тем, во что я уверовал, начитавшись музыкальных журналов брата, которые обличали виртуозов, защищая самобытность, энергию и силу. Однако сколько мы это ни обсуждали, сколько часов ни проводили в музыкальных магазинах и над каталогами «Товары – почтой», сдвинуть с мертвой точки свою группу нам так и не удалось, играли мы все так же, и у нас не хватило ума компенсировать этот недостаток, сочиняя, например, собственные песни, нет, мы продолжали играть самые затасканные и самые стилистически невыразительные композиции, давшие название альбомам, такие как «*Smoke on the Water*» группы *Deep Purple*, «*Paranoid*» *Black Sabbath*, «*Black Magic Woman*» Сантаны, это не считая «*So Lonely*» группы *The Police*, ставшей неременной частью нашего репертуара, потому что Ингве показал мне все аккорды.

Мы были совершенно беспомощными и никуда не годились, мы не имели ни малейшего шанса хоть как-то отличаться, мы не смогли бы выступить даже на школьном вече-

ре, но, хотя это была горькая правда, мы сами этого совершенно не понимали... Наоборот, мы этим жили. Это была не моя музыка, а музыка Яна Видара, она противоречила всем моим убеждениям, а я тем не менее возлагал все надежды на нее. Вступление к *«Smoke on the Water»* – это воплощенная глупость, полная противоположность всему крутому – вот что я упорно разучивал в 1983 году в школе Ве: сначала рифф на гитаре, потом хай-хэт – чика-чика, чика-чика, чика-чика, чика-чика, затем большой барабан – дум, дум, дум, затем малый – тик-тик-тик, дальше дурацкий проигрыш бас-гитары, во время которого мы переглядывались и улыбались, кивая головой и раскачиваясь, пока не начнется, совершенно асинхронно, первый куплет. Вокалиста у нас не было. Но когда Ян Видар поступил в ремесленную школу, мы узнали, что в Хонесе есть барабанщик, он, правда, учился только в восьмом классе, но на худой конец мог сгодиться, нам сгодился бы кто угодно, а этот к тому же имел доступ в репетиционное помещение, где есть ударные и усилитель и все остальное, так что вот они мы: я, ученик первого класса гимназии, мечтавший посвятить себя инди-року, но лишенный музыкального таланта, ритм-гитара; Ян Видар, ученик кондитера, вложивший столько усердия в упражнения, что мог бы за это время стать вторым Ингви Мальстеном, Эдди ван Халеном или Ричи Блэкмором, но не пошедший дальше технических этюдов, соло-гитара; Ян Хенрик, с которым вне репетиций мы старались общаться как можно меньше, бас-гитара; и Эй-

винн, веселый крепыш из Хонеса, не обремененный никакими амбициями, ударник. «*Smoke on the Water*», «*Paranoid*», «*So Lonely*», а потом и «*Ziggy Stardust*» раннего Дэвида Боуи и «*Hang on to yourself*», аккорды к которому мне тоже показал Ингве. Никакого вокала, только аккомпанемент. Каждый выходной. С гитарными футлярами – на автобус, долгие разговоры о музыке и инструментах на пляже, на скамейках перед магазином, в комнате Яна Видара, в кафе аэропорта, где-нибудь в городе, потом тщательные репетиции и упражнения в обреченной попытке поднять группу на ту высоту, на которой мы уже стояли в своем воображении.

Однажды я принес в школу кассету с записью наших упражнений. И как-то стоял на перемене в наушниках на голове, слушая кассету с нашими композициями и размышляя, кому бы их показать. У Бассе были одинаковые со мной музыкальные вкусы, так что ему не пойдет, ведь тут совсем другое, он это все равно не поймет. Может быть, Ханне? Она поет и, кроме того, очень мне нравится. Но тут был немалый риск. Она знала, что я играю в группе, это говорило в мою пользу и возвышало меня в ее глазах, но я мог в них и сильно упасть, после того как она услышит, как и что мы играем. Полу? Да, ему можно. Он и сам играл в группе под названием *Vampire*, в бешеном темпе, подражая *Metallica*. Пол, в обычной жизни застенчивый, чувствительный и ранимый, как девчонка, ходил в черной коже, играл на бас-гитаре и орал на сцене как черт, он-то поймет, чем мы занимаемся.

На следующей перемене я подошел к нему, сказал, что в прошлые выходные мы разучили несколько композиций, и спросил, не согласится ли он их послушать и сказать свое мнение. Само собой. Он надел наушники, нажал на «play», а я внимательно вглядывался в его лицо. Он улыбнулся и вопросительно посмотрел на меня. Через несколько минут он рассмехался и снял наушники.

– Там же ничего нет, Карл Уве, – сказал он. – Вообще ничего. Это что, шутка?

– Ничего? Что значит ничего?

– Вы же не умеете играть. И не поете. Там просто ничего нет. – Он развел руками.

– Ну да, можно бы и получше, – признал я.

– Ладно, выключай!

«А твоя группа, конечно, зашибись», – хотел я сказать, но не сказал.

– Ну, что есть, то есть, – выдавил я. – Ладно, спасибо, что послушал.

Он опять засмеялся, вопросительно глянув на меня. Пол вообще был непостижим, с его увлечением спид-металом и нелепым прикидом, над которым потешались одноклассники, совершенно не сочетающимся с его стеснительностью, которая, в свою очередь, совершенно не сочеталась с необыкновенной открытостью, когда ему было нечего опасаться. Однажды, например, Пол принес свое стихотворение, несколько лет назад напечатанное в журнале для дев-

чонок «Дет Ньюэ», которому он еще и дал интервью. Опрометчивый, бессовестный, ранимый, неотесанный – и все это Пол. Что нас послушал именно он, было, в общем, даже неплохо, потому что всерьез его никто не воспринимал, так что, над чем он смеется, ни для кого не имело значения. Поэтому я совершенно спокойно засунул плеер в карман и пошел на урок. Это, конечно, верно, играем мы так себе. Но с каких это пор техничность стала считаться чем-то важным? Или он ничего не слышал про панк-рок? Про «новую волну»? Да в этих группах никто играть не умеет! Но зато у них характер! Сила! Душа! Нерв!

Вскоре после этого, в начале осени 1984 года, нас впервые пригласили выступить. Все устроил Эйвинн. Хонесский торговый центр отмечал свое пятилетие, это событие решили отпраздновать с воздушными шариками, тортом и музыкой. Выступать должны были братья Бёксле, известные в регионе исполнители сёрланнских народных песен, с которыми они выступали уже двадцать лет. Но директору центра хотелось плюс к этому чего-нибудь местного и желательно молодежного, а мы как раз подходили под эти требования, так как репетировали в школе, расположенной в каких-то ста метрах от супермаркета. Мы должны были играть двадцать пять минут и получить за это пятьсот крон. Услышав эту новость, мы бросились обнимать Эйвинна. Черт возьми! Наконец-то настал наш час!

Две недели, оставшиеся до выступления, назначенного на

одиннадцать утра в субботу, прошли быстро. Мы много раз репетировали, как все вместе, так и на пару с Яном Видаром, мы до хрипоты обсуждали, в каком порядке исполнять композиции, мы заранее закупили новые струны, чтобы их разработать, договорились, в чем выходить на сцену, и, когда настал назначенный день, заранее собрались в репетиционном помещении, чтобы несколько раз прогнать всю программу. Мы сознавали, что рискуем перегореть еще до выступления, но все же решили, что главное – это уверенная игра.

Ах, каким же счастливым я себя чувствовал, шагая по асфальтированной площади перед торговым центром с гитарой в руке! Аппаратура уже была на месте в конце прохода, ведущего к площади. Эйвинн устанавливал ударные. Ян Видар настраивал гитару при помощи нового электрокамертона, купленного специально ради этого случая. Вокруг собрались дети и глазели на него. Скоро и на меня будут. Я постригся совсем коротко, на мне были черные джинсы, ремень с заклепками, сине-белые бейсбольные кроссовки. И конечно же – гитарный футляр в руке.

В другом конце прохода уже пели братья Бёксле. Посмотреть на них собралась небольшая группа, всего человек десять. Поток остальных устремлялся мимо, в магазин или обратно. Было ветрено, чем-то этот ветер напомнил мне концерт битлов в 1970 году на крыше здания «Эппл».

– Все в порядке? – спросил я Яна Видара, положил футляр, вынул гитару, достал ремень и перекинул через плечо.

– Ага, – ответил он. – Будем включать? Который час, Эйвинн?

– Десять минут двенадцатого.

– Еще десять минут. Подождем немного. Еще пять минут. Окей?

Он подошел к усилителю и отпил колы из стоявшей рядом бутылки. Голову он повязал скрученной банданой. На нем была белая рубашка навыпуск и черные брюки.

Братья Бёксле все пели.

Я бросил взгляд на список пьес, наклеенный сзади на усилитель.

Smoke on the Water

Paranoid

Black Magic Woman

So Lonely.

– Можно мне камертон? – спросил я Яна Видара.

Он протянул мне коробку, и я подключил питание. Гитара была настроена, но я немного подкрутил колки. На парковку то и дело подъезжали автомобили и делали круг, высматривая свободное место. Как только открывалась дверь, из нее вылезали сидевшие сзади дети и, потоптавшись на асфальте, тащили родителей в нашу сторону. Все глядели на нас, проходя мимо, никто не останавливался.

Ян Хенрик подключил бас-гитару к усилителю, резко дернул струну. Над асфальтом разнеслось «БУМ».

БУМ БУМ БУМ

Оба брата Бёксли дружно обернулись в нашу сторону, не переставая петь. Ян Хенрик шагнул к усилителю и прибавил громкости. Сыграл несколько нот.

БУМ. БУМ.

Эйвинн попробовал ударные. Ян Видар взял аккорд на гитаре. Вышло офигенно громко. Вся площадь глядела на нас.

– Эй вы, там! Прекратите это! – крикнул один из братьев Бёксле.

Ян Видар посмотрел на них с вызовом, затем повернулся и снова глотнул колы. Усилитель бас-гитары работал, усилитель Видара тоже. А как там у меня? Я прикрутил звук, взял аккорд, медленно стал прибавлять звук, усилитель словно погнался за звуком, все больше усиливая громкость, а я тем временем не спускал глаз с обоих певцов, стоявших, расставив ноги, в другом конце прохода и продолжавших играть на гитарах, с улыбкой распевая свои безмятежные песенки про чаек, рыбацьи лодки и закаты. В тот момент, когда они посмотрели на меня таким взглядом, который иначе как свирепым не назовешь, я снова убавил звук. Усилитель работал, все в порядке.

– А теперь который час? – спросил я Яна Видара.

Его пальцы уже лежали на грифе.

– Двадцать минут.

– Придурки! Пора им уже сворачиваться.

Братья Бёксли воплощали в себе все то, что я отвергал: все респектабельное, уютное, мещанское. Я с нетерпением

ждал момента, когда включу усилитель и смету их со сцены. До этого дня мой бунт сводился к тому, чтобы выступать в классе с особым мнением, а иногда спать на уроке, опустив голову на парту. Однажды я бросил на улице пакет из-под булочек, и, когда какой-то старичок попросил меня его поднять, я предложил ему сделать это самому, если для него это так важно. Когда я, отвернувшись, пошел дальше, сердце у меня колотилось так, что я едва мог дышать. В остальном я выражал себя через музыку, где одно то, что я слушал, – антикоммерческие, андерграундные, бескомпромиссные группы – делало меня бунтарем, не согласным с общепринятыми условиями и стремящимся их изменить.

И чем громче я играл, тем ближе казалась моя цель. Я купил к своей гитаре такой удлинитель, чтобы можно было играть внизу в прихожей перед зеркалом, включив на полную громкость усилитель наверху в моей комнате, и тогда происходило нечто удивительное: звук искажался, становился пронзительным, и от этого, как бы я ни играл, получалось шикарно, звуки моей гитары наполняли собой весь дом и между этими звуками и моими чувствами возникало некое единство, они сами словно становились мною, таким, каким я был на самом деле. Я написал об этом текст, вообще-то для песни, но поскольку мелодия так и не придумалась, я назвал его стихами и записал в дневник.

Души фидбэк коверкая,

Я сердце выворачиваю
И вижу, как мы сливаемся
Внутри моего одиночества,
Внутри моего одиночества,
Ты и я, Ты и я, любимая.

Я рвался на волю, на простор. И единственным, что, в моем представлении, имело к этому отношение, была музыка. Вот так я и очутился тем днем в начале осени 1984 года на площади перед торговым центром Хонеса с купленной к конфирмации, светлого дерева имитацией «Стратокастера» через плечо, и стоял там, положив палец на кнопку громкости, дожидаясь, когда братья Бёксли закончат петь, чтобы в ту же секунду врубить звук на полную мощность.

На площадь налетел резкий порыв ветра, по мостовой, шурша, пронеслись сухие листья, скрипя, завертелся щит с рекламой мороженого. Мне показалось, что на щеку мне брызнула капля, и я взглянул на молочно-белое небо.

– Дождь, что ли? – спросил я.

Ян Видар выставил раскрытую ладонь и пожал плечами.

– Вроде нет, – сказал он. – Один хрен, мы все равно будем играть. Хоть под ливнем.

– Согласен, – сказал я. – Психуешь?

Он с каменным лицом покачал головой.

Наконец братья закончили. Небольшая группа людей, собравшаяся перед ними, захлопала, братья стали кланяться.

Ян Видар обернулся к Эйвинну:

– Готов?

Эйвинн кивнул.

– Готов, Ян Хенрик?

Ян Хенрик кивнул.

– Карл Уве?

Я кивнул.

– Два, три, четыре, – отсчитал вслух Ян Видар, в общем-то самому себе, потому что первые такты рифа он играл один.

В следующую секунду воздух взорвался от звуков его гитары. Люди вокруг вздрогнули. Все обернулись на нас. Я мысленно отсчитывал такт, поставив пальцы на гриф. Моя рука тряслась.

РАЗ ДВА ТРИ – РАЗ ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ – РАЗ ДВА
ТРИ – РАЗ ДВА.

Тут мне надо было вступить.

Но звука не было!

Ян Видар уставился на меня застывшим взглядом. Я переждал один такт, включил громкость и вступил. Две гитары – это уже нечто оглушительное.

РАЗ ДВА ТРИ – РАЗ ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ – РАЗ ДВА
ТРИ – РАЗ ДВА.

Тут вступил хай-хэт.

Чика-чика, чика-чика, чика-чика, чика-чика.

Большой барабан.

Малый барабан.

Затем бас-гитара.

БАМ БАМ БАМ бамбамбамбамбамбамбамбамбамбамБА
БАМ БАМ БАМ бамбамбамбамбамбамбамбамбамбамБА

Только тут я снова взглянул на Яна Видара. Он гримасничал, пытаясь сказать что-то беззвучно.

«Слишком быстро! Слишком быстро!»

Эйвинн сбавил темп. Я попытался сделать то же самое, но сбивало то, что бас-гитара и гитара Яна Видара продолжали играть в прежнем темпе, а когда я бросил эти попытки и принял их темп, они вдруг заиграли медленнее, и только я один продолжал держать бешеный ритм. Посреди этого сумбура я заметил, как ветер ерошит волосы Яна Видара, а один из ребяташек, стоящих перед нами, зажимает ладонями уши. В следующую секунду пошла первая строфа, и мы более или менее выправились. И тут на площади появился мужчина в светлых брюках, сине-белой полосатой рубашке и желтой летней куртке. Это был директор магазина. Он направлялся к нам. Не дойдя метров двадцати, он начал махать руками, как будто хотел остановить идущее судно. Он махал и махал. Еще несколько секунд мы продолжали играть, но, когда он остановился прямо перед нами, продолжая махать, уже невозможно было сомневаться в том, кому он подает эти знаки, и мы перестали.

– Что за чертовщину вы тут устраиваете! – сказал он.

– С нами же договорились, чтобы мы тут играли, – сказал Ян Видар.

– Да вы совсем, что ли, обалдели! Тут же торговый центр!

Сегодня суббота. Люди приходят за покупками и хотят отдохнуть! Нельзя же подымать такой адский грохот!

– Хотите, чтобы мы немного убавили звук? – спросил Ян Видар. – Без проблем!

– Убавьте, да как следует.

Вокруг нас собралась целая толпа. Человек пятнадцать-шестнадцать, если считать детей. Не так уж и плохо!

Ян Видар обернулся и убавил громкость усилителей. Взял на гитаре аккорд и посмотрел на директора магазина.

– Так пойдет? – спросил он.

– Еще! – потребовал директор.

Ян Видар еще немного убавил звук, взял новый аккорд.

– Так хватит? – спросил он. – Мы же не танцевальный оркестр.

– Ладно, – сказал директор. – Давайте так. Хотя нет, убавьте-ка еще.

Ян Видар снова повернулся к усилителю. Когда он дотронулся до регулятора громкости, я увидел, что он только сделал вид, что повернул его.

– Ну вот, – сказал он.

Мы с Яном Хенриком слегка прикрутили звук.

– Начинаем сначала, – сказал Ян Видар.

Мы начали сначала. Я отсчитывал про себя ритм.

РАЗ ДВА ТРИ – РАЗ ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ – РАЗ ДВА ТРИ – РАЗ ДВА.

Директор магазина направился обратно к входу в торго-

вый центр. Мы играли, а я следил за ним глазами.

Когда мы дошли до места, на котором нас прервали, он остановился и обернулся. Посмотрел на нас. Отвернулся, сделал несколько шагов к центру, обернулся опять и вдруг устремился к нам и снова замахал руками, как в первый раз. Ян Видар не видел его, он играл с закрытыми глазами. А Ян Хенрик все видел и посмотрел вопросительно на меня.

– Стоп, стоп, стоп! – сказал директор, подходя к нам. – Так не пойдет, – сказал он. – Извините. Давайте сворачивайтесь.

– Как? – сказал Ян Видар. – Это почему же? Вы же говорили – двадцать пять минут.

– Не пойдет, – сказал он и, нагнув голову, помахал перед собой руками. – Сорри, парни.

– Но почему? – повторил Ян Видар.

– Вас невозможно слушать, – сказал директор. – Вы даже не поете! Так что получите свои деньги, и пока. Вот, держите.

Он достал из внутреннего кармана конверт и протянул его Яну Видару.

Ян Видар взял конверт, повернулся к директору спиной и выдернул усилитель из розетки, отключил его, снял с шеи гитару, подошел к футляру и убрал ее. Народ вокруг посмеивался.

– Все, – сказал Ян Видар. – Пошли по домам.

После этого случая статус группы приобрел некую сомнительность; несколько раз мы еще собирались и репетировали, но как-то без огонька; затем Эйвинн предупредил, что не придет на следующую репетицию; в другой раз на месте не оказалось ударных; потом очередная репетиция совпала у меня с тренировочным матчем... Тогда же мы с Яном Видаром стали все реже встречаться, а еще через пару недель он проямлил, что познакомился с парнем из другого класса и они устраивают джем-сейшены, так что теперь я если и брался за гитару, то только для собственного развлечения.

И вот я, напевая «*Ground Control to Major Tom*», беру любимые минорные аккорды и думаю о двух пакетах с пивом, которые лежат у меня в лесу.

В это Рождество, Ингве привез нотный альбом с композициями Дэвида Боуи, и я сразу переписал их в блокнот целиком, с аппликатурой, текстами и нотами. Сейчас я его достал. Затем поставил на проигрыватель *Hunky Dory*, включил «*Life on Mars*», которая шла пятой, и стал негромко подыгрывать, так, чтобы слышать и вокал, и другие инструменты. По спине пробежал озноб. Это была потрясающая вещь, и, когда я повторял вслед за пластинкой гитарные аккорды, у меня было такое чувство, что мелодия раскрывалась мне навстречу, я как бы входил в нее, а не оставался снаружи, как это бывает, когда только слушаешь. Чтобы открыть для себя песню и войти в нее самому, мне потребовалось бы несколько дней, потому что сам я не слышал, какие тут нужны ак-

корды, мне пришлось бы мучительно к ним пробиваться, и, даже подобрав похожие, я все равно никогда не был вполне уверен, те или не те я нашел. Опустить иглу, внимательно вслушаться, снять иглу, взять аккорд. Хм... Опустить иглу, прислушаться, взять тот же аккорд. А он ли это был? Или, может, вот этот? Не говоря обо всем остальном, что происходит с гитарным звуком на протяжении одной композиции. Одним словом – безнадега! Вот у Ингве, например, все получалось с первой попытки. Я встречал и других людей, похожих на него, которые с этим родились; музыка была у них неотделима от мысли, а вернее, вообще не имела отношения к мысли, а жила в душе, существуя сама по себе. Они просто *играли*, а не механически повторяли ту или иную схему; о такой свободе, которая и есть музыка, мне оставалось только мечтать. Так же и с рисованием. Рисование никакого статуса не давало, но мне все равно нравилось рисовать, и я проводил за этим занятием немало времени, уединившись у себя в комнате. Если передо мной был образец, вроде какого-нибудь комикса, у меня иногда выходило что-то приличное, но, когда я не копировал, а рисовал сам, из головы, ничего путного не получалось. А мне приходилось встречать людей, в которых это было заложено от природы, в особенности в Ту-не из нашего класса, она без усилий могла нарисовать что угодно: дерево на площади за окном, припаркованный под ним автомобиль, учителя у доски. Когда пришло время выбирать факультативные предметы, мне хотелось взять «Фор-

му и цвет», но, зная, что некоторые из моих одноклассников действительно умеют рисовать, я отказался от этой затеи. Пусть будет «Кинематография». Но мысль об этом угнетала, потому что хотелось быть кем-то особенным.

Я встал, поставил гитару на штатив, выключил усилитель и спустился на первый этаж. Мама стояла и гладила. Круги света вокруг лампочек над дверью и на амбарной стене еле виднелись сквозь снежную завесу.

– Ну и погода! – сказал я.

– Да уж, действительно, – кивнула мама.

Входя на кухню, я вспомнил, что по дороге проезжала снегоуборочная машина. Наверное, неплохо бы до приезда гостей раскидать сугроб, который она оставила у обочины.

Я обернулся к маме:

– Схожу-ка я уберу с обочины снег, пока они не приехали.

– Это хорошо, – сказала мама. – Может, зажжешь заодно уличные свечи? Они в гараже. Лежат в мешочке у стенки, увидишь.

– Хорошо, зажгу. У тебя есть зажигалка?

– В сумке.

Я оделся и вышел во двор, открыл гараж, взял там лопату, замотался шарфом и направился к дороге. Мело так, что, хотя я начал раскапывать сугроб из рыхлого свежего снега и слежавшихся комьев спиной к ветру, выюга колола мне лицо, как иголками, и залепляла глаза. Через несколько минут я услышал хлопок, далекий и приглушенный, как будто из

помещения, и, подняв голову, успел увидеть среди крошечной, насквозь продуваемой ветром тьмы вспышку маленького взрыва. Наверное, это Пер и Том вместе с их отцом испытывали только что купленные ракеты. Что, видимо, придало им всем ощущение полноты жизни, а меня еще больше опустошило, поскольку этот мгновенный проблеск только усилил ощущение последовавшей бессобытийной пустоты: ни машины, ни одной живой души, только черный лес да метель и неподвижная полоса света вдоль дороги. Долина внизу тонула во мраке. Слышался только скрежет легкого металла лопаты о твердокаменный пласт слежавшегося снега да мое пыхтение, казавшееся громче из-за шарфа, которым я плотно обмотался поверх шапки.

Раскидав снег, я снова зашел в гараж, поставил в угол лопату, нашел мешок с четырьмя уличными свечами и зажег их в темноте одну за другой – не без удовольствия, потому что языки пламени были такими плавными, а голубая сердцевина то вытягивалась вверх, то склонялась набок, следуя за порывами ветра. Подумав, где бы их разместить, я решил установить две на крыльце и две на каменной ограде перед амбаром.

Не успел я поставить вторую пару свечей на ограду, загорев их от ветра кусками наста, и закрыть гаражную дверь, как из-за поворота внизу послышался шум подъезжающей машины. Я снова открыл дверь гаража и поспешил в дом; мне захотелось срочно доделать *все* до приезда гостей, не

оставив следов своей деятельности. Эта навязчивая мысль охватила меня с такой силой, что я впопыхах схватил в ванной первое попавшееся полотенце и вытер им ботинки, чтобы никто не увидел меня в прихожей со снегом на ногах, а куртку, шапку, шарф и рукавицы сбросил, только поднявшись к себе. Когда я спустился вниз, машина уже стояла во дворе с еще не выключенным мотором и горящими красными габаритниками, а дедушка придерживал дверцу, помогая бабушке выйти.

Когда я был дома один, каждая комната обнаруживала собственный характер, и не то чтобы они встречали меня особенно враждебно, но и не раскрывались мне навстречу. Они будто не желали мне подчиняться, настойчиво заявляя о своем праве на отдельное существование зиянием окон и ограниченных плинтусами пола и потолком стен. Я ощущал, как мне противится их мертвое начало, мертвое не в смысле прекращения жизни, а в смысле ее изначального отсутствия, как это присуще камню, стакану воды, книге. Присутствия нашего кота, Мефисто, было недостаточно для того, чтобы преодолеть это свойство комнат, при нем я видел только зияющие пустотой помещения, но стоило в них появиться другому человеку, пускай даже младенцу, как это впечатление рассеивалось. Отец наполнял комнаты беспокойством, мама – нежностью, терпеливостью, меланхолией, иногда, вернувшись домой после работы усталая, легким,

но все же ощутимым оттенком раздражительности. Пер, который никогда не заходил в дом дальше прихожей, наполнял ее веселым настроением, ожиданием чего-то хорошего и уважительной скромностью. Ян Видар, единственный человек, не считая семьи, кто бывал в моей комнате, наполнял ее упрямством, честолюбием и товариществом. Интересно бывало, когда вместе собиралось несколько человек, потому что пространство принимало на себя отпечаток только одного, самое большое двоих присутствующих, и не всегда самый сильный оказывался самым заметным. Так, например, скромность Пера, его уважение к старшим порой пересиливали угрюмость моего отца, когда тот, бирюком проходя через прихожую, мимоходом кивал Перу головой. Впрочем, гости в доме бывали редко. Не считая бабушки и дедушки, папиных родителей, и его брата, дяди Гуннара, с семьей. Они навещали нас по три-четыре раза за полгода, и для меня их приезд всегда был радостью. Отчасти из-за того, что бабушка так много значила для меня в детстве, это отношение сохранилось у меня и в юности, и окружавший ее ореол не потускнел в моих глазах, не столько из-за подарков, которыми она меня баловала, сколько из-за ее неподдельной любви к детям, а отчасти потому, что отец при ней показывал себя с лучшей стороны. Он становился мягче со мной, как бы приближал к себе, признавал, что я что-то для него значу, однако это ласковое обращение с сыном было тут не главное, оно было лишь частью излучаемой им душевной щедрости:

он делался обаятельным, остроумным, он шутил и блистал эрудицией, и для меня это оправдывало те противоречивые чувства, которые я к нему питал, уделяя столько времени его личности.

Дверь в прихожую им открыла мама.

– Здравствуйте, – сказала она. – Добро пожаловать!

– Здравствуй, Сиссель, – сказал дедушка.

– Ну и погода, – сказала бабушка. – Ужас что такое! Но как же красиво там со свечами, скажу я вам!

– Давайте мне одежду, – сказала мама.

На бабушке была круглая шапка из темного меха, которую она сняла и хорошенько похлопала ладонью, отряхивая от снега, и шубка, которую она вместе с шапкой отдала маме.

– Хорошо, что ты приехал за нами, – сказала она, обернувшись к папе. – Нам самим в такую погоду ни за что бы не добраться!

– Ну не знаю, – ответил дедушка. – Хотя дорога длинная, конечно, и все время петляет.

Бабушка вошла в прихожую, расправила складки на платье, пригладила волосы.

– А вот и ты! – улыбнулась она, увидев меня.

– Привет! – сказал я.

Из-за спины у нее выглядывал дедушка со своим серым пальто в руках. Мама шагнула к нему мимо бабушки и, взяв у него пальто, повесила на вешалку под лестницей возле зер-

кала. За ними показался папа, он постучал ногами о ступеньку, сбивая с обуви снег.

– Привет, привет! – сказал мне дедушка. – Папа говорит, ты собрался встречать Новый год в своей компании?

– Точно, – сказал я.

– Какие же вы уже большие! – сказал дедушка. – Подумать только – на Новый год с компанией!

– Что поделаешь! – это из передней подал голос папа. – Наша его уже не устраивает. – Он взъерошил пятерней волосы и несколько раз покачал головой.

– Пойдем в гостиную? – предложила мама.

Я вошел вслед за ними, сел в плетеное кресло возле двери в сад, они уселись на диване. Тяжелые папины шаги донеслись сначала с лестницы, затем слышались наверху, из того места над гостиной, где находилась его комната.

– Я пойду поставлю вам кофе, – сказала мама, поднявшись с дивана.

Воцарившееся после ее ухода молчание легло на мою ответственность.

– А Эрлинг что, в Тронхейме? – спросил я.

– Да, в Тронхейме, – откликнулась бабушка. – Они собирались встречать Новый год дома.

На ней было синее шелковистое платье с черными узорами на груди. В ушах белые жемчужины, на шее – золотая цепочка. Волосы у нее были темные, видимо крашеные, хотя не факт – зачем тогда было оставлять седую прядку на-

до лбом? Не тучная, даже не полная, она тем не менее производила впечатление статности. С которой контрастировали ее движения, всегда проворные. Но самым ярким, самым примечательным в бабушке были ее глаза. Совершенно прозрачные и голубые, они то ли из-за необычного цвета, то ли по контрасту с темными волосами казались искусственными, словно сделанными из камня. У отца были в точности такие же глаза, и впечатление оставляли то же самое. Помимо любви к детям, примечательным бабушкиным свойством был ее дар садовода. Когда мы приезжали к бабушке с бабушкой летом, то, как правило, находили ее в саду, и в моих воспоминаниях она всегда предстает на его фоне. Вот она в садовых рукавицах, с растрепавшимися на ветру волосами несет в костер охапку сухих веток или стоит на коленях возле только что выкопанной ямки и осторожно разматывает мешковину с корней саженца, или, поворачивая расположенный под верандой кран, оглядывается через плечо, заработала ли дождевальная установка, а затем стоит подбоченясь и любуется на сверкающую в лучах солнца крутящуюся струю. А вот она, сидя на корточках, полет за домом грядки, заполнявшие каждую впадину и складку склона, словно лужи, что остаются в шхерах после отлива, отрезанные валунами от родной стихии. Мне, помнится, было жалко эти растения, беззащитные и одинокие, каждое торчит на своей кочке: как же они, наверное, тоскуют по той жизни, которая раскинулась внизу. Там, внизу, все растения жили дружной

семьей, образуя все новые сочетания в зависимости от времени года и суток, как, например, те старые груши и сливы, которые бабушка когда-то привезла из дедовского сада, трепещущие листвой под порывами ветра, от которого волнуется падающая на траву тень на закате сонного летнего дня, когда солнце садится в устье фьорда, а городской шум доносится замирающим гулом, сливаясь с жужжанием ос и шмелей, копошащихся в лепестках белых роз, примостившихся зеленой каймой под стеной дома. На саде уже тогда лежала печать старины, той величавости и полноты, которые может дать только время, и, наверное, по этой причине теплицу бабушка устроила в самом низу, скрыв ее за пригорком, чтобы расширять свое поле деятельности, разводя все новые, редкие деревья и растения, не портя сад зрелищем неприхотливой хозяйственной постройки. Осенью и зимой за ее полупрозрачными стенами смутным пятном маячил бабушкин силуэт, и потом она как бы между прочим не без гордости сообщала нам, что огурцы и помидоры на столе – не покупные, а из ее теплицы. Дедушка садом совершенно не занимался и, когда бабушка и папа, или бабушка и Гуннар, или бабушка и дедушкин брат Алф принимались обсуждать цветы и деревья, так как в нашей семье все интересовались растениями, он предпочитал листать газету или проверять по таблице номер своего лотерейного билета. Меня всегда удивляло, что человек, постоянно работавший с числами, продолжал заниматься ими даже в свободное вре-

мя, вместо того чтобы садовничать, или столярничать, или делать что-нибудь еще, требующее физических усилий. Но нет: числа на работе и числа во время досуга! Единственным посторонним увлечением, которое я за ним знал, была политика. Когда речь заходила о ней, он сразу оживлялся, у него были очень твердые убеждения, но желание подискутировать побеждало, и ему доставляло удовольствие, когда кто-то ему возражал. По крайней мере, в тех редких случаях, когда мама, сторонница либеральной «Венстре», высказывала свои взгляды, его глаза выражали полнейшую доброжелательность, хотя голос становился громче и тон резче. Что касается бабушки, то она в таких случаях всегда просила его поговорить о чем-нибудь другом или успокоиться. Она часто позволяла себе с ним иронию, порой даже насмешку, а он тоже не оставался в долгу, и, если дело было при нас, она всегда нам подмигивала, как бы давая понять, что это, мол, не всерьез. Бабушка была смешлива и любила рассказывать забавные истории из своей жизни или услышанные от людей. Она помнила все потешные детские словечки Ингве; с Ингве они были особенно близки, поскольку как-то в детстве он прожил у нее полгода, да и после часто к ней приезжал. Рассказывала она и про школьные приключения Эрлинга в Тронхейме, но больше всего ее историй восходило к 1930-м годам, когда бабушка работала водителем у одной богатой и, очевидно, впавшей в маразм дамы.

Теперь им с дедушкой было уже за семьдесят, причем ба-

бушке немного больше, чем ему, на здоровье они не жаловались и по-прежнему ездили зимой за границу.

На некоторое время в комнате наступило молчание. Я старался придумать, что бы такое сказать. Повернулся и стал смотреть в окно, чтобы тишина не казалась такой гнетущей.

– А как там дела в кафедралке? – спросил наконец дедушка. – Страй еще способен сказать вам что-то разумное?

Страй был наш учитель французского. Маленький, плотненький, лысенький бодрячок лет семидесяти, он жил рядом с домом, где располагалась дедушкина контора. Насколько мне известно, между ними шла какая-то затяжная распря, возможно по поводу межевания их владений; судились ли они, я толком не знаю, как и не знаю, завершилась она или все продолжалась, во всяком случае, они не здоровались, причем уже много лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.